

РЕВОЛЮЦИЯ
КУЛЬТУРНАЯ

The logo features the word "РЕВОЛЮЦИЯ" (Revolution) in a bold, sans-serif font, tilted upwards to the right. Below it, the word "КУЛЬТУРНАЯ" (Cultural) is written in a similar bold, sans-serif font, oriented horizontally. Three stylized lightning bolts are positioned behind the text, with one bolt striking the letter "О" in "РЕВОЛЮЦИЯ".

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание
сочинений
в тринадцати томах

Редакционный совет
*П. П. Гайденко, А. А. Гусейнов,
С. В. Казачков, В. Н. Миронов,
Н. В. Мотрошилова, Т. И. Ойзерман,
В. А. Подорога, В. А. Попов,
К. А. Свасьян, Ю. В. Синеокая,
В. С. Стётин, И. А. Эбанюидзе*

Издательство
«Культурная Революция»
Москва

Институт философии
Российской академии наук

Фридрих Ницше

полное собрание
сочинений

Шестой том

Сумерки идолов
Антихрист
Ессе homo
Дионисовы дифирамбы
Ницше contra Вагнер

Перевод с немецкого

Издательство
«Культурная Революция»
Москва 2009

ББК 87.3 Герм
Н70

Сверка, научное редактирование, общая редакция

И.А. Эбаноидзе

Перевод Ю.М. Антоновский, Я.Э. Голосовкер,
А.В. Карельский, В.Б. Микушевич, А.В. Михайлов,
Н.Н. Полилов, К.А. Свасьян, И.А. Эбаноидзе
Оформление И. Бернштейн

Ницше, Фридрих.

Н70 Полное собрание сочинений: В 13 томах / Ин-т философии.— М.: Культурная революция, 2005—
Т. 6: Сумерки идолов. Антихрист. Ессе homo. Дионисовы дифирамбы. Ницше contra Вагнер / Пер. с нем. Ю.М. Антоновского, Я.Э. Голосовкера и др.; науч. ред. И.А. Эбаноидзе. — 2009. — 408 с. — ISBN 978-5-250-06071-4.

В шестой том полного собрания сочинений Ф. Ницше вошли наиболее поздние его произведения, созданные во второй половине 1888 года. «Сумерки идолов» публикуются в переводе Н.Н. Полилова, который был тщательно сверен и отредактирован. Текст «Ессе homo» подготовлен на основе перевода Ю.М. Антоновского, в который добавлены фрагменты нового перевода, в том числе те фрагменты рукописи Ницше, которые впервые увидели свет лишь в рамках немецкого академического собрания сочинений Ницше под редакцией Д. Колли и М. Монтинари. «Антихрист» публикуется в переводе А.В. Михайлова (озаглавленном переводчиком «Антихристианин») с учетом редактуры и с добавлением мест, опущенных в немецком издании 1906 г. «Дионисовы дифирамбы» и «Ницше contra Вагнер» в полном и аутентичном виде публикуются на русском впервые.

В комментариях к тому детально освещена как история создания произведений, так и история фальсификации и воссоздания некоторых фрагментов подлинных текстов Ницше.

© Культурная революция, 2009

© А.В. Карельский, наследники; В.Б. Микушевич; А.В. Михайлов, наследники; К.А. Свасьян; И.А. Эбаноидзе. Перевод, 2009

© И.А. Эбаноидзе. Редакция перевода, 2009

© И.А. Эбаноидзе. Подготовка комментария, 2009

© И. Бернштейн. Оформление, 2009

Содержание

| | | |
|---|--|-----|
| 9 | Сумерки идолов (<i>пер. Н. Полилова</i>) | |
| | Предисловие | 11 |
| | Изречения и стрелы | 13 |
| | Проблема Сократа | 21 |
| | «Разум» в философии | 28 |
| | Как «истинный мир» наконец стал басней | 33 |
| | Мораль как протiwоестественность | 35 |
| | Четыре великих заблуждения | 41 |
| | «Исправители» человечества | 49 |
| | Чем обделены немцы | 53 |
| | Набеги Несвоевременного | 60 |
| | Чем я обязан древним | 99 |
| | Молот говорит | 106 |

Сумерки идолов
или
как философствуют молотом

Предисловие

Сохранять азарт в темном и непомерно ответственном деле не малый фокус; и все же, что еще может пригодиться тут больше, чем азарт? Ни одна вещь не удастся, если в ней не принимает участия задор. Только излишек силы служит доказательством силы. – *Переоценка всех ценностей*, этот вопросительный знак, столь черный, столь чудовищный, что он бросает тень на того, кто его ставит, – такая роковая задача вынуждает каждое мгновение выбегать на солнце, стряхивать с себя тяжелую, ставшую слишком тяжелой серьезность. Тут хорошо всякое средство, тут всякий «случай» – счастливый случай. Прежде всего *война*. Война всегда была великой находкой всех сокровенных, ставших слишком глубокими умов; даже в полученных ранениях заключена целебная сила. Издавна моей любимой поговоркой было изречение, происхождение которого я утаю от ученого любопытства:

increscunt animi, virescit volnere virtus¹.

Другое лечение, в некоторых случаях для меня более желательное – это *прислушиваться к идолам*... В мире больше идолов, чем реальностей: это *мой* «злой взгляд» на этот мир, а еще – мое «злое ухо»... Задавать здесь вопросы *молотком*, чтобы, возможно, услышать в ответ тот самый гулкий полый звук, говорящий о вздутии, – какой это восторг для человека, который еще и за ушами имеет уши, – для меня, старого психолога и крысолова, перед которым *должно зазвучать* именно то, что хотело бы отсиживаться в тиши...

Также и настоящее сочинение – об этом говорит заглавие – есть прежде всего отдых, солнечное пятно, увиливание в праздность, досуг психолога. Быть может, также и новая война? И мы будем припадать ухом к новым идолам?..

¹ Души крепнут, добродетель расцветает от ран (*лат.*).

Это маленькое сочинение – *великое объявление войны*; что же касается простукивания идолов, то на сей раз это не временные, а *вечные* идолы, к которым здесь прикасаются молотком, как камертоном, – и нет на свете более старых, более уверенных, более надутых идолов... И более полых... Это не препятствует тому, что в них *больше всего верят*; да и называют их, особенно тех, кто поважнее, отнюдь не идолами...

Турин, 30 сентября 1888 г.,
в день, когда была окончена первая книга

Переоценки всех ценностей

Фридрих Ницше

Изречения и стрелы

1

Праздность есть мать всякой психологии. Как? Разве психология – порок?

2

И самый отважный из нас очень редко обладает отвагой к тому, что он собственно *знает*...

3

Чтобы жить в одиночестве, надо быть зверем или богом, говорит Аристотель. Тут не учтен третий случай: надо быть и тем и другим – *философом*...

4

«Всякая истина проста». – Разве это не усложненная ложь?

5

Я хочу раз навсегда *не* знать многого. – Мудрость полагает границы также и познанию.

6

В своем диком естестве лучше всего отдыхаешь от своей неестественности, своей духовности...

7

Как? разве человек только ошибка Бога? Или Бог только ошибка человека?

8

Из боевой школы жизни. – Что не убивает меня, то делает меня сильнее.

9

Помогай себе сам: тогда поможет тебе и каждый. Принцип любви к ближнему.

10

Не проявлять трусости по отношению к своим поступкам!
Не отворачиваться от них! – Угрызения совести неприличны.

11

Может ли *осел* быть трагичным? – Когда гибнешь под тяжестью, которую не можешь ни нести, ни сбросить?.. Случай философа.

12

Если имеешь свое «*почему*» жизни, то поладишь почти со всяким «*как*». – Человек *не* стремится к счастью; к нему стремится только англичанин.

13

Мужчина создал женщину – но из чего? Из ребра своего бога – своего «идеала»...

14

Что? Ты ищешь? Ты хотел бы удесятерить, увеличить себя во сто раз? Ты ищешь приверженцев? – Ищи *нулей!*

15

Посмертных людей – меня, например, – понимают хуже, чем современных, но лучше *слушают*. Говоря точнее: мы никогда не будем поняты – и *отсюда* наш авторитет...

16

Между женщинами. – «Истина? О, вы не знаете истины! Разве она не покушение на все наши *pudeurs*¹?»

17

Вот художник, каких я люблю, скромный в своих потребностях: он хочет собственно только двух вещей, своего хлеба и своего искусства, – *panem et Circen*²...

18

Кто не умеет вкладывать в вещи свою волю, тот по крайней мере вкладывает в них *смысл*: т.е. он полагает, что воля в них уже есть (принцип «веры»).

1 стыдливости (*фр.*).

2 хлеба и Цирцеи (*лат.*).

19

Как? вы выбрали добродетель и возвышенные чувства, и одновременно поглядываете с завистью на барыши людей бесцеремонных? – Но ведь, выбрав добродетель, *отказываются* этим от «барышей»... (на входную дверь антисемиты).

20

Совершенная женщина занимается литературой так же, как совершает маленький грех: для пробы, мимоходом, оглядываясь, замечает ли это кто-нибудь, и *чтобы* это кто-нибудь заметил...

21

Попадать в отчаянные положения, где ты просто не имеешь права на мнимые добродетели, где ты, скорее, как канатный плясун на своём канате: сорвешься с него, устоишь на нем, или пройдешь по нему до конца...

22

«У злых людей нет песен». – Отчего же у русских есть песни?

23

«Немецкий ум»: уже восемнадцать лет *contradictio in adjecto*.

24

Ища начал, делаешься раком. Историк смотрит вспять; в конце концов он и *верит* тоже вспять.

25

Чувство удовлетворения предохраняет даже от простуды. Простуживалась ли хоть одна женщина, умеющая хорошо одеваться? – Я имею в виду те случаи, когда она была едва одета.

26

Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности.

27

Женщину считают глубокой. Почему? Потому что у неё никогда не дойдешь до дна. Женщина даже и не мелка.

28

Если у женщины мужские добродетели, то от нее впору бежать; если же у нее нет мужских добродетелей, то она убежит сама.

29

«Как же прежде кусалась совесть! Какие хорошие зубы у неё были! – А теперь... И в чем тут дело?» – Вопрос для зубного врача.

30

Люди редко ограничиваются одним опрометчивым поступком. Совершая первый такой поступок, всегда делают чересчур много. Именно поэтому обычно решаются на второй опрометчивый шаг – и на сей раз делают слишком мало...

31

Червяк, на которого наступили, начинает извиваться. Это благоразумно. Он уменьшает этим вероятность, что на него наступят снова. На языке морали: *смирение*.

32

Есть ненависть ко лжи и притворству, порожденная шепетильностью в вопросах чести; есть такая же ненависть, порожденная трусостью, поскольку ложь *запрещена* божественной заповедью. Слишком труслив, чтобы лгать...

33

Как мало нужно для счастья! Звук волынки. – Без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представляет себе даже Бога распеваящим песни.

34

On ne peut penser et écrire qu'assis¹ (Г.Флобер). – Вот я и поймал тебя, нигилист! Усидчивость есть как раз *грех* против духа святого. Только *выхоженные* мысли имеют ценность.

35

Бывают случаи, когда мы уподобляемся лошадям, мы, психологи, и впадаем в беспокойство: мы видим перед собой нашу собственную колеблющуюся тень. Чтобы вообще видеть, психолог должен не обращать внимания на *себя*.

¹ Думать и писать можно только сидя (*фр.*).

36

Наносим ли мы, имморалисты, *ущерб* добродетели? – Столь же мало, как анархисты – государям: с тех пор, как в них начали стрелять, они снова крепко засели в своих тронах. Мораль: *нужно стрелять в мораль*.

37

Ты спешишь *вперед*? – Как пастух? Или как исключение? Возможен еще и третий случай: беглец... Это *первый* вопрос совести.

38

Ты настоящий? Или только актер? Выступаешь ли ты вместо чего-то или ты и есть то, что должно выступить на свет? – В конце концов ты ведь можешь оказаться всего-навсего копией актера... Это *второй* вопрос совести.

39

Говорит разочарованный. – Я искал великих людей, а находил всего лишь обезьян их идеала.

40

Ты из тех, кто только смотрит? Или кто участвует? Или кто не обращает внимания, идет своей дорогой?.. Это *третий* вопрос совести.

41

Ты хочешь сопутствовать? Или предшествовать? Или идти сам по себе?.. Надо знать, *чего* хочешь и хочешь *ли*. Это *четвертый* вопрос совести.

42

Для меня это были ступени, я поднялся выше их, для этого мне нужно было по ним пройти. А они-то воображали, будто я хотел усесться на них отдыхать...

43

Что с того, что правым остаюсь я! Я слишком прав. – А кто нынче хорошо смеётся, тот посмеется и последним.

44

Формула моего счастья: Да, Нет, прямая линия, *цель*...

Проблема Сократа

1

О жизни мудрейшие люди всех времен судили одинаково: *она никуда не годится...* Всегда и всюду из их уст слышали один и тот же вздох – вздох, полный сомнений, полный тоски, усталости от жизни, противостояния жизни. Даже Сократ сказал, умирая: «Жить – это значит быть долго больным: я должен исцелителю Асклепию петуха». Даже Сократу она надоела. – Что это *доказывает*? На что это *указывает*? – В прежние времена сказали бы (– о, это говорили, и довольно громко, и прежде всех наши пессимисты!): «В этом наверняка должна быть какая-то правда! *Consensus sapientium* доказывает истину». – Будем ли мы и нынче так говорить? *Вправе* ли мы? «Здесь наверняка должна быть какая-то *болезнь*», ответим *мы*: эти мудрейшие всех времен, надо бы сперва взглянуть на них поближе! Быть может, все они уже не твердо стояли на ногах? Были утомленными? Пошатывающимися? Декадентами? Не появляется ли, быть может, мудрость на земле, как ворон, которого вдохновляет малейший запах падали?..

2

Мне самому эта непочтительность, что великие мудрецы суть *упадочные типы*, впервые пришла в голову при рассмотрении именно того случая, где ей сильнее всего противостоит ученый и неученый предрассудок: я опознал Сократа и Платона как симптомы упадка, как орудия греческого разложения, как псевдогреков, как антигреков («Рождение трагедии», 1872). Упомянутый выше *consensus sapientium* – я понимал это все яснее – менее всего доказывает их правоту в том, в чем они совпадали: он доказывает скорее, что

сами они, эти мудрейшие, кое в чем совпадали *физиологически*, раз они относились – *вынуждены* были относиться – в равной мере отрицательно к жизни. Оценки, суждения о ценности жизни, за или против, в конечном счете никогда не бывают истинными: они представляют ценность лишь как симптомы, они принимаются в соображение лишь как симптомы, – сами по себе такие суждения являются глупостями. Нужно непременно поставить своей целью и постараться уловить ту удивительную *finesse*, что *ценность жизни не может быть установлена*. Ее не может установить живущий, поскольку он является стороной и даже объектом спора, а не судьей. Ее не может установить умерший, по другой причине. – Поэтому если философ видит в *ценности* жизни проблему, это с его стороны даже возражение самого себя, вопросительный знак к собственной мудрости, отсутствие мудрости. – Как? а все эти великие мудрецы – оказывается, они были не только *décadents*, оказывается, они даже и не были мудрыми? – Но я возвращаюсь к проблеме Сократа.

3

Сократ по своему происхождению принадлежал к низшим слоям народа: Сократ был чернью. Известно, и даже можно до сих пор увидеть, насколько он был уродлив. Но уродство, само по себе дающее повод к возражению, служит у греков почти опровержением. Был ли Сократ вообще греком? Уродство достаточно часто является результатом скрещивания, развития, которое было *замедлено* скрещиванием. В другом случае оно является *нисходящим* развитием. Антропологи из среды криминалистов говорят нам, что типичный преступник уродлив: *monstrum in fronte, monstrum in animo*¹. Но преступник есть *décadent*. Был ли Сократ типичным преступником? – По крайней мере этому не противоречит то знаменитое суждение физиономиста, которое друзьям Сократа показалось таким обидным. Один иностранец, умевший разбираться в лицах, проходя через Афины, сказал Сократу в лицо, что он *monstrum*, – что он таит в

1 чудовище по виду, чудовище в душе (*лат.*).

себе все дурные пороки и вожделения. И Сократ ответил только: «Вы знаете меня, мой господин!»

4

На *décadence* указывает у Сократа не только признанная разнузданность и анархия в инстинктах; на это указывает также перепроизводство логического и характерная для Сократа *злоба фахитика*. Не забудем и о тех слуховых галлюцинациях, которые были истолкованы на религиозный лад, как «демоний Сократа». Все в нем преувеличено, *buffo*, карикатура, все вместе с тем затаенно, себе на уме, подземно. – Я пытаюсь постичь, из какой идиосинкразии протекает сократовское уравнение: разум = добродетель = счастье – это причудливейшее из всех существующих уравнений, которое особенно претит всем инстинктам древних эллинов.

5

С Сократа греческий вкус меняется в пользу диалектики; что же там, собственно, происходило? Прежде всего ею оказался побежден *аристократический* вкус; вместе с диалектикой наверх всплывает чернь. До Сократа в хорошем обществе чурались диалектических манер: они считались дурными манерами, они компрометировали. Молодежь предостерегали от них. Также не доверяли всему этому выкладыванию доводов. Приличные вещи, как и приличные люди, не таскают своих доводов так вот в руках. Неприлично показывать всю пятерню. То, что сперва еще должно себя доказать, стоит немногого. Всюду, где авторитет относится еще к числу хороших обычаев, где не «обосновывают», а приказывают, диалектик оказывается чем-то вроде паяца: над ним смеются, его не принимают всерьез. – Сократ был паяцем, *заставившим принять себя всерьез*: что же тут, собственно, произошло?

6

Диалектику выбирают лишь тогда, когда нет никакого другого средства. Известно, что ею возбуждаешь недоверие, что она мало убеждает. Ничто так легко не изглаживается, как эффект, произведенный диалектиком: это доказывает опыт любого собрания, где произносятся речи. Она может быть лишь *средством вынужденной защиты* в руках людей, не имеющих никакого иного оружия. Должно быть, приходилось *завоевывать* свое право: ни на что, кроме этого, она не годилась. Поэтому диалектиками были евреи; Рейнеке-Лис был им; как? и Сократ тоже им был?

7

Что такое ирония Сократа? Выражение протеста? Ресентимент черни? Не наслаждается ли он, как угнетенный, своей собственной свирепостью, вонзая, как нож, свои силлогизмы? *Мстит* ли он знатным, которых очаровывает? – Если ты диалектик, то у тебя в руках беспощадное орудие, им можно тиранить; побеждая, ты еще и компрометируешь. Диалектик вынуждает своего противника доказывать, что тот не идиот: он приводит в бешенство и вместе с тем делает беспомощным. Диалектик *депотенцирует* интеллект своего противника. – Как? разве диалектика у Сократа является только формой *мести*?

8

Я дал понять, чем мог отталкивать Сократ, – но теперь тем более надо объяснить, *чем* он привлекал. – Во-первых, тем, что изобрел новый вид агона, что был для знатных афинских кругов первым наставником на этом поприще. Он привлекал, будя агональный инстинкт эллинов, – он привнес свой вариант в состязание между молодыми мужчинами и юношами. Сократ был еще и великим *эротиком*.

9

Но Сократ угадал еще больше. Он видел кое-что за *спиной* своих знатных афинян; он понимал, что *его* случай, его идиосинкразия уже не была исключительным случаем. Такое же вырождение подготавливалось всюду в тиши: старым Афинам приходил конец. – И Сократ понимал, что все *нуждаются* в нем – в его средствах, в его врачевании, в его личной сноровке самосохранения. Повсюду инстинкты находились в анархии; каждый был в пяти шагах от эксцесса: *monstrum in animo* был всеобщей опасностью. «Инстинкты хотят стать тираном; нужно изобрести *противотирана*, который был бы сильнее»... Когда упомянутый физиономист открыл Сократу, кто он такой, назвав его вертепом всех дурных похотей, великий насмешник обронил еще одно словечко, дающее ключ к нему. «Это правда, – сказал он, – но над всеми ними я стал господином». *Как* сделался Сократ господином над *собой*? – Его случай был в сущности лишь крайним случаем, лишь самым бросающимся в глаза из того, что тогда начинало делаться всеобщим бедствием: что никто уже не был господином над собою, что инстинкты обратились друг *против* друга. Он притягивал, как этой крайний случай, – его внушающее страх уродство говорило в его пользу каждому глазу: он притягивал, само собою разумеется, еще сильнее как ответ, как решение, как кажущееся *врачевание* этого случая.

10

Коль скоро из *разума* понадобилось делать тирана, как это сделал Сократ, то должна была существовать немалая угроза того, что таким тираном сделается нечто иное. В разумности тогда угадали *спасительницу*; ни Сократ, ни его «больные» не были вольны быть разумными – это было *de rigueur*¹, это было их *последнее* средство. Фанатизм, с которым все греческие помыслы набрасываются на разумность, выдает бедственное положение: находились в опасности, был

¹ необходимо (*фр.*).

только *один* выбор: или погибнуть, или – быть *абсурдно-разумными*... Морализм греческих философов, начиная с Платона, обусловлен патологически, равно как и их оценка диалектики. Разум = добродетель = счастье – это просто означает: надо подражать Сократу и возжечь против темных вожделений раз и навсегда *дневной свет* – дневной свет разума. Надо быть благоразумным, ясным, светлым во что бы то ни стало: каждая уступка инстинктам, бессознательному ведет *вниз*...

11

Я дал понять, чем очаровывал Сократ: казалось, что он врач, спаситель. Нужно ли указывать еще на заблуждение, заложенное в его вере в «разумность любой ценой»? – Это самообман со стороны философов и моралистов, будто они уже тем выходят из *décadence*, что объявляют ему войну. Выйти из него – выше их сил: то, что они выбирают как средство, как спасение, само опять-таки является выражением *décadence* – они *меняют* его выражение, они не устраняют его самого. Сократ был недоразумением; *вся исправительная мораль, также и христианская, была недоразумением*... Самый яркий дневной свет, разумность во что бы то ни стало, ясная, холодная, осторожная, сознательная, без инстинкта, сопротивляющаяся инстинктам жизнь сама была лишь болезнью, иной болезнью – а вовсе не возвращением к «добродетели», к «здоровью», к счастью... Быть *вынужденным* побеждать инстинкты – вот формула для *décadence*; но пока жизнь *восходит*, счастье равно инстинкту.

12

Понял ли он это сам, этот умнейший из всех перехитривших самих себя? Не сказал ли он это себе под конец *мудростью* своей отваги к смерти?.. Сократ *хотел* умереть: не Афи-

1 Более компактным, но менее точным вариантом перевода здесь было бы «из всех самообманщиков». – *Прим. ред.*

ны ему, а *он* себе дал чашу с ядом, он вынудил Афины дать эту чашу... «Сократ не врач, – тихо сказал он себе, – одна смерть здесь врач... Сократ сам был долго всего лишь больным...»

«Разум» в философии

1

Вы спрашиваете меня, что же является идиосинкразией у философов?.. Например, отсутствие у них исторического чувства. Их ненависть к самому представлению становления, их египтицизм. Они воображают, что делают *честь* какой-нибудь вещи, если деисторизируют ее, *sub specie aeterni*, – если делают из нее мумию. Все, что философы в течение тысячелетий пускали в ход, были мумии понятий; ничто действительное не вышло живым из их рук. Когда эти господа-жрецы понятий поклоняются им, они убивают, они бальзамируют, – они становятся опасными для жизни всего, когда поклоняются. Смерть, изменение, старость, так же как зарождение и рост, являются для них возражениями – даже опровержениями. Что есть, то не *становится*; что становится, то не *есть*... И вот все они, даже с каким-то отчаянием, верят в сущее. Но так как не могут его заполучить, то ищут причин, почему его от них скрывают. «Должна быть иллюзия, обман в том, что мы не воспринимаем сущего: где же скрывается обманщик?» – «Мы нашли его, – кричат они радостно, – это чувственность! Эти чувства, *которые и без того так безразличны*, обманывают нас относительно истинного мира. Мораль: следует освободиться от обмана чувств, от становления, от истории, от лжи, – история есть не что иное, как вера в чувства, вера в ложь. Мораль: отречься от всего, что верит чувствам, от всего остального человечества – все это “люд”. Быть философом, быть мумией, с мимикой могильщика изображать монотонотеизм! – И прежде всего прочь *тело*, эту жалкую *idée fixe* чувств! Обремененное всеми ошибками логики, какие только есть, опровергнутое, даже невозможное, хотя и достаточно наглое для того, чтобы изображать из себя нечто действительное!...»

Я с глубоким почтением оставляю в стороне от этого разговора имя *Гераклита*. Если прочая философская публика отвергала свидетельство чувств, потому что последние указывали на множественность и изменения, то он отвергал их свидетельство потому, что они показывали, будто вещи обладают длительностью и единством. Гераклит тоже был несправедлив к чувствам. Они лгут не так, как полагали элеаты, но и не так, как полагал он, – они вообще не лгут. Лишь то, что мы сами *делаем* из их свидетельства, вкладывает в них ложь, – к примеру, ложь единства, ложь вещности, субстанции, длительности... «Разум» – причина того, что мы искажаем свидетельство чувств. Поскольку чувства показывают нам становление, минование, перемену, они не лгут... Но Гераклит останется вечно правым в том, что бытие есть пустая фикция. «Кажущийся» мир и есть единственный: «истинный мир» только *прилган к нему*...

– А сколь тонкими орудиями наблюдения снабжены наши чувства! К примеру, этот нос, о котором еще ни один философ не говорил с почтением и благодарностью, является между прочим деликатнейшим из всех находящихся в нашем распоряжении инструментов: он способен констатировать самые минимальные разности движения, которых не констатирует даже спектроскоп. Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились *принимать* свидетельство чувств и поскольку научились еще и изолировать их, вооружать, додумывать до конца. Остальное – недоноски и еще-не-наука: имею в виду метафизику, теологию, психологию, теорию познания. *Или* же формальная наука, учение о знаках: как то логика и прикладная логика, математика. В них действительности нет и в помине, даже как проблемы; так же как и вопроса, какую ценность имеет вообще такая конвенция о знаках, как логика.

4

Другая идиосинкразия философов не менее опасна: она состоит в смешивании последнего и первого. Они ставят в начале *как* таковом то, что появляется в конце, – к сожалению! Ибо оно не должно бы появляться вовсе! – «высшие понятия», т.е. самые общие, самые пустопорожние понятия, последний дым испаряющейся реальности. Это опять-таки только выражение их манеры поклоняться: высшее не *должно* произрастать из низшего, не *должно* вообще произрастать... Мораль: все, что первого ранга, должно быть *causa sui*¹. Происхождение из чего-нибудь другого считается возражением, сомнением в ценности. Все высшие ценности суть первого ранга, все высшие понятия: сущее. Безусловное, доброе, истинное, совершенное – все это не может произойти, следовательно, *должно* быть *causa sui*. Но все это не может быть также неравным одно другому, не может находиться в противоречии с собою... Вот у них и получилось их удивительное понятие «Бог»... Последнее, самое разреженное, самое пустое предполагается как первое, как причина сама по себе, как *ens realissimum*²... Чтобы человечество вынуждено было серьезно относиться к мозговым страданиям больных пауков-ткачей! – И оно дорого заплатило за это!...

5

– Противопоставим же наконец этому то, насколько иначе смотрим *мы* (– я говорю из учтивости *мы*...) на проблему заблуждения и кажимости. Некогда считали изменение, смену, вообще становление доказательством кажимости, признаком того, что должно быть нечто вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим себя – ровно в той мере, в какой предрассудок разума принуждает нас применять понятия единства, идентичности, постоянства, субстанции, причины, вещиности, бытия, – некоторым образом впу-

1 собственной причиной (*лат.*).

2 наиреальнейшее существо (*лат.*).

танными в заблуждение, *приневоленными* к заблуждению; как бы ни были мы на основании строгой самопроверки уверены в том, *что* тут заблуждение. С этим обстоит так же, как с движением небесного тела: там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз, здесь – наш язык. Язык по своему происхождению относится ко временам рудиментарнейшей формы психологии: мы впадаем в грубый фетишизм, когда доводим до нашего сознания основные предпосылки метафизики языка, по-немецки: *разума*. *Сознание* видит всюду делателя и делание: оно верит в волю как причину вообще; оно верит в «Я», в Я как бытие, в Я как субстанцию и *проецирует* веру в субстанцию-Я на все вещи – оно только этим *создает* понятие «вещь»... Бытие всюду вмысливается, *подсовывается* в качестве причины; и только из концепции «Я» вытекает, как производное, понятие «бытия»... В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто *действующее* – что воля есть *способность*... Нынче мы знаем, что она – только слово... Гораздо позже, в тысячу раз более просвещенном мире в сознание философов, как озарение, проникла *уверенность*, субъективная *достоверность* в применении категорий разума: они пришли к заключению, что последние не могут вести свое происхождение из эмпирии – ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. *Откуда же ведут они свое происхождение?* – В Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах: «мы должны были уже некогда жить в высшем мире (вместо того, чтобы сказать – *в гораздо более низшем*: что было бы истиной!), мы, должно быть, были божественными, *ведь* у нас есть разум»!.. На деле ничто до сих пор не имело более навивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, к примеру, элеатами: ведь за него говорит каждое слово, каждое изрекаемое нами предложение! – Также и противники элеатов подчинялись обольщению их понятием бытия: в числе других и Демокрит, когда он придумал свой *атом*... «Разум» в языке – ох, что это за старая лживая бабенка! Я боюсь, что мы не избавимся от Бога потому, что еще верим в грамматику...

Мне будут благодарны, если я кратко выражу столь существенный, столь новый взгляд в четырех тезисах: этим я облегчаю понимание, этим я провоцирую возражение.

Первое положение. Основания, в силу которых «этот» мир был охарактеризован как кажущийся, скорее доказывают его реальность, – реальность *иного* рода абсолютно недоказуема.

Второе положение. Признаки, которыми наделили «истинное Бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на *ничто*. «Истинный мир» построили из противоречия действительному миру – вот на самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь *морально-оптическим* обманом.

Третье положение. Бредить об «ином» мире, чем этот, не имеет никакого смысла, при условии, что мы не обуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорочения жизни: в последнем случае мы *мстим* жизни фантазмагорией «иной», «лучшей» жизни.

Четвертое положение. Делить мир на «истинный» и «кажущийся», все равно, в духе ли христианства или в духе Канта (в конечном счете просто *вероломного* христианина), – это лишь внушение *décadence* – симптом *нисходящей* жизни... Что художник ценит видимость выше реальности, не может служить возражением против данного положения. Ибо «видимость» означает здесь *плюс еще одну* реальность, но только прошедшую отбор, усиленную, скорректированную... Трагический художник *вовсе не* пессимист, он говорит как раз *Да* всему темному и даже страшному, он *дионисичен*...

Как «истинный мир» наконец стал басней

История одного заблуждения

1. Истинный мир достижим для мудрого, для благочестивого, для добродетельного, который живет в нем, *который и есть этот мир*.

(Древнейшая форма идеи, сравнительно умная, простая, убедительная. Перифраза положения: «я, Платон, *есмь истина*».)

2. Истинный мир недостижим сейчас, но обещан мудрому, благочестивому, добродетельному («грешнику, который *кается*»).

(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, – *она становится женщиной*, она становится христианской...)

3. Истинный мир недостижим, недоказуем, не может быть обещан, но даже в качестве мыслимого он является утешением, долгом, императивом.

(В сущности, старое солнце, но сквозь пелену тумана и скепсиса: идея стала вконец утонченной, бледной, северной, кенигсбергской.)

4. Истинный мир недостижим? Во всяком случае не достигнут. А поскольку не достигнут, то и *неведом*. Следовательно, он и не утешает, не спасает и не обязывает: к чему может обязывать нас нечто неведомое?..

(Серое утро. Первое позевывание разума. Петушиный крик позитивизма.)

5. «Истинный мир» – идея, ни на что больше не нужная, и даже ни к чему более не обязывающая, – бесполезная, ставшая излишней идея, *следовательно*, опровергнутая идея – упраздним ее!

(Ясный день; завтрак; возвращение bon sens¹ и веселости; Платон краснеет от стыда; все вольнодумцы поднимают адский шум.)

6. Мы упразднили истинный мир – какой же мир остался? Быть может, кажущийся? ... Но нет! *Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся!*

(Полдень; мгновение, когда тень так коротка; конец заблуждения, сопровождавшего нас так долго; апогей человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA².)

¹ здравого смысла (*фр.*).

² начинается Заратустра (*лат.*).

Мораль как противоестественность

1

У всех страстей бывает пора, когда они просто губительны, когда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз, – и более поздняя, гораздо более поздняя пора, когда они сочетаются брачными узлами с духом, «одухотворяются». Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявили войну самой страсти: дали клятву уничтожить её, – все нравственные чудища старых времен сходятся в том, что «il faut tuer les passions»¹. Самая знаменитая формула этого находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не *с высоты*. Там, например, говорится применительно к половой сфере: «если глаз твой соблазняет тебя, вырви его» – к счастью, ни один христианин не следует этому предписанию. *Уничтожать* страсти и вождения только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче в свою очередь только острой формой глупости. Мы уже не превозносим тех зубных врачей, которые *вырывают* зубы, чтобы они больше не болели... С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия «*одухотворение* страсти». Ведь, как известно, первая церковь боролась *против* «интеллигентных» на благо «нищих духом»; с чего бы ждать от неё интеллигентной войны со страстью? – Церковь устраивает против страсти во всех смыслах резню: её практика, её «лечение» есть *кастрация*. Она никогда не спрашивает: «как одухотворить, украсить, обожествить вождение?» – она во все времена ставила дисциплинирующий акцент на искоренении (чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности). –

¹ надо убивать страсти (*фр.*).

Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни: практика церкви *враждебна жизни...*

2

То же самое средство: оскотление, искоренение – инстинктивно выбирают в борьбе с каким-нибудь вожделием те, кто слишком слаб, слишком выродился, чтобы знать в нем меру; теми натурами, которым нужна la Tappe*, говоря иносказательно (и без иносказания), какой-нибудь окончательный разрыв, *пропасть* между собою и страстью. Без радикальных средств не могут обойтись лишь дегенераты; слабость воли, говоря определеннее, неспособность *не* реагировать на раздражение, есть в свою очередь только другая форма вырождения. Радикальная вражда, смертельная вражда к чувственности остается симптомом, который заставляет задуматься: он дает право строить предположения относительно общего состояния до такой степени эксцессивного человека. – Кстати, эта вражда, эта ненависть только тогда достигает своего апогея, когда подобным натурам не хватает больше твердости даже для радикального лечения, для отречения от своего «дьявола». Просмотрите всю историю жрецов и философов, включая сюда и художников: самые ядовитые слова против чувств сказано *не* импотентами и *не* аскетами, а невозможными аскетами, такими людьми, которым понадобилось бы быть аскетами...

3

Одухотворение чувственности называется *любовью*: оно является великой победой над христианством. Другая победа – это наше одухотворение *вражды*. Оно состоит в глубоком понимании ценности иметь врагов: словом, в том, что поступаешь и умозакключаешь обратно тому, как поступали и умозаклучали некогда. Церковь хотела во все времена уничтожения своих врагов – мы же, мы, имморалисты и антихристиане, видим нашу выгоду в том, чтобы церковь продолжала существовать... Также и в области политики враж-

да стала теперь одухотвореннее – гораздо благоразумнее, гораздо рассудительнее, гораздо *снисходительнее*. Почти каждая партия видит интерес своего самосохранения в том, чтобы враждебная партия не обессилела; то же самое можно сказать и о большой политике. В особенности новые образования, к примеру, новая империя, более нуждаются во врагах, нежели в друзьях: только в контрасте чувствуют они себя необходимыми, только в контрасте *становятся* они необходимыми... Не иначе относимся мы и к «внутреннему врагу»: и тут мы одухотворили вражду, и тут постигли её *ценность*. Являешься *плодовитым* лишь в силу того, что богат контрастами; остаёшься *молодым* лишь при условии, что душа не обмякает, не жаждет мира... Ничто не стало нам более чуждым, чем эта прежняя желанность, желанность «мира в душе», *христианская* желанность; ничто не возбуждает в нас менее зависти, чем моральная жвачка и жирное счастье чистой совести. Отказываясь от войны, отказываешься от *великой* жизни... Во многих случаях, конечно, «мир души» является только недоразумением – кое-чем *иным*, что просто не умеет называть себя честнее. Без лишних слов и предрассудков приведу несколько случаев. «Мир в душе» может быть, например, мягким излучением богатой животности в область морального (или религиозного). Или началом усталости, первой тенью, которую бросает вечер, всякого рода вечер. Или признаком того, что воздух влажен и скоро подуют южные ветры. Или бессознательной благодарностью за удачное пищеварение (порою называемой «человеколюбием»). Или успокоением выздоравливающего, для которого все вещи обретают новый вкус и который ждёт... Или состоянием, следующим за интенсивным удовлетворением господствующей в нас страсти, довольством редкой сытости. Или старческой слабостью нашей воли, наших вожделений, наших пороков. Или ленью, которую тщеславие уговорило нарядиться в нравственность. Или появлением уверенности, пусть даже страшной уверенности, после долгого напряжения и мучения вследствие неуверенности. Или выражением зрелости и мастерства – в делании, созидании, воздействии, волении, спокойным дыханием, *достигнутой* «свободой воли»... *Сумерки идолов*: кто знает? быть может, это тоже лишь некий вид «мира в душе»...

4

Я формулирую один принцип. Всякий натурализм в морали, т. е. всякая *здоровая* мораль, подчиняется инстинкту жизни, – какая-нибудь заповедь жизни выполняется с помощью определенного канона о «должен» и «не должен», а какое-нибудь затруднение или враждебность на пути жизни с его помощью устраняются. *Противоестественная* мораль, т. е. почти всякая мораль, которой до сих пор учили, которую чтили и проповедовали, напротив, оборачивается как раз *против* инстинктов жизни – она оказывается то тайным, а то и явным и даже дерзким *осуждением* этих инстинктов. Говоря, что «Бог знает сердца», она говорит «Нет» низшим и высшим вожелениям жизни и считает Бога *врагом жизни*... Святой, угодный Богу, есть идеальный кастрат... Жизнь кончается там, где *начинается* «Царствие Божие»...

5

Предположим, будет осознана вся преступность такого восстания против жизни, которое в христианской морали стало уже чем-то почти священным. Тогда, к счастью, будет осознано также и нечто другое: бесполезность, иллюзорность, абсурдность, *лживость* такого восстания. Осуждение жизни со стороны живущего оказывается ведь в конечном счете лишь симптомом определенного рода жизни; вопроса о том, справедливо оно или нет, мы этим вовсе не ставим. Надо было бы занимать позицию *вне* жизни, а с другой стороны, знать её так же хорошо, как один, как многие, как все, кто её прожил, чтобы вообще сметь касаться проблем *ценности* жизни – достаточные основания для того, чтобы понять, что эта проблема для нас недоступна. Говоря о ценностях, мы говорим под влиянием вдохновения, под влиянием оптики жизни: сама жизнь принуждает нас устанавливать ценности, сама жизнь оценивает через нас, *когда* мы определяем ценности... Отсюда следует, что и та *противоестественная мораль*, которая понимает Бога как противопонятие и осуждение жизни, есть лишь оценка, производимая жизнью – *какой* жизнью? *каким* видом жизни? – Но я уже

дал ответ: нисходящей, ослабленной, усталой, обреченной жизнью. Мораль, как ее понимали до сих пор – как напоследок ее сформулировал еще и Шопенгауэр в качестве «отрицания воли к жизни», – есть сам *инстинкт décadence*, обрастающий себя в императив. Она говорит: «погибни!» – она есть суждение осуждённых...

6

Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: «человек *должен* быть таким-то и таким-то!». Действительность показывает нам восхитительное богатство типов, роскошь расточительной игры и смены форм, а какой-нибудь несчастный поденщик-моралист говорит на это: «Нет! человек должен бы быть *иным*?.. Этот лизоблюд и пустосвят знает даже, *каким* именно должен быть человек; он малюет на стене самого себя и говорит при этом «ессе homo!»... Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит ему: «*Ты* должен бы быть таким-то и таким-то!» – он не перестает делать себя посмешищем. Индивид есть во всех отношениях частица фатума, еще один закон, еще одна необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: «изменись» – значит требовать, чтобы все изменилось, даже вспять... И действительно, были последовательные моралисты, они хотели видеть человека иным, а именно, добродетельным, они хотели сделать его своим подобием, а именно, пустосвятом: для этого они *отрицали* мир! Не малое безумие! Вовсе не скромный вид нескромности!.. Мораль, поскольку она *осуждает*, сама по себе, а *не* из видов, соображений, целей жизни, есть специфическое заблуждение, к которому не следует питать ни малейшего сострадания, *идиосинкразия дегенератов*, причинившая невыразимое количество вреда!.. Мы, иные, мы, имморалисты, наоборот, раскрыли наше сердце всякому пониманию, постижению, *одобрению*. Мы не отрицаем с такой легкостью, мы ищем чести для себя в том, чтобы быть *утверждающими*. Мы все больше ценим такую экономию, которая умеет пользоваться даже всем тем, что прежде отвергалось – отвергалось священным сумасбродством жре-

ца, *большим* разумом в жреце, – на ту экономию в законе жизни, которая извлекает свою выгоду даже из отвратительных разновидностей пустосвята, жреца, добродетельного, – *какую* выгоду? – Но сами мы, мы, имморалисты, являемся ответом на это...

Четыре великих заблуждения

1

Заблуждение, заключающееся в смешивании причины и следствия.
– Нет более опасного заблуждения, чем когда *путают следствие и причину*: я считаю его настоящей порчей разума. Тем не менее это заблуждение принадлежит к числу наиболее древних и ранних привычек человечества: оно даже освящено у нас, и носит название «религии», «морали». Его содержит в себе *каждое* положение, формулируемое религией и моралью; виновниками этой порчи разума являются жрецы и законодатели нравственности. – Приведу пример. Всякий знает книгу знаменитого Корнаро, в которой он рекомендует свою скудную диету как рецепт долгой и счастливой – а также добродетельной – жизни. Не многие книги находили столько читателей, как эта; она ещё и теперь ежегодно печатается в Англии многотысячными тиражами. Не сомневаюсь в том, что мало какая книга (за исключением, разумеется, Библии) принесла столько вреда, *сократила* столько жизней, как этот столь благонамеренный *curiosum*. И это из-за того, что путают причину и следствие. Простодушный итальянец видел в своей диете *причину* своей долгой жизни: тогда как предусловие долголетия – чрезвычайно медленный обмен веществ и их малый расход – было причиной его скудной диеты. Он не был волен есть мало *или* много, его умеренность *не* была «свободной волей»: он становился болен, когда ел больше. Но кто не карп, тому не только на пользу, но и необходимо есть *как следует*. Учёный *наших* дней, который быстро расходует нервную энергию, погубил бы себя этим régime Корнаро. *Crede experto*¹.

¹ верьте эксперту (*лат.*).

Универсальная формула, лежащая в основе всякой религии и морали, гласит: «делай то-то и то-то, не делай того-то и того-то – и будешь счастлив! В противном случае...» Каждая мораль, каждая религия есть этот императив – я называю его великим первородным грехом разума, *бессмертным неразумием*. В моих устах эта формула превращается в свою противоположность – *первый* пример моей «переоценки всех ценностей»: удавшийся человек, «счастливец», *должен* совершать определенные поступки и инстинктивно страшится других поступков, он вносит порядок, который он физиологически являет собою, в свои отношения к людям и вещам. Формулируя это: его добродетель есть *следствие* его счастья... Долгая жизнь, многочисленное потомство *не* есть награда за добродетель, скорее сама добродетель есть то замедление обмена веществ, которое, среди прочего, имеет следствием долгую жизнь, многочисленное потомство, словом, *корнафизм*. – Церковь и мораль говорят: «род людской, народы гибнут от порока и роскоши». Мой *восстановленный* разум говорит: если народ гибнет, физиологически вырождается, то из этого *вытекают* пороки и роскошь (т. е. потребность всё в более сильных и частых раздражениях, которая знакома всякой истощённой натуре). Вот молодой человек, который слишком рано стал вял и бескровен. Его друзья говорят: причиной этому такая-то и такая-то болезнь. Я говорю: то, *что* он стал больным, *что* он не сопротивлялся болезни, было уже следствием оскудевшей жизни, наследственного истощения. Читатель газет говорит: эта партия погубит себя такой ошибкой. Моя *высшая* политика говорит: с партией, делающей такую ошибку, уже покончено – она лишилась инстинкта самосохранения. Всякая ошибка во всяком смысле есть следствие вырождения инстинкта, дисгрегации воли: это практически определение *дурного*. Всё *хорошее* есть инстинкт – и, следовательно, оно легко, необходимо, свободно. Когда надрываются, то этим опровергают себя; Бог имеет типическое отличие от героя (на моем языке: *легкие* ноги суть первый атрибут божественности).

3

Заблуждение ложной причинности. – Во все времена верили, будто знают, что такое причина, – но откуда взяли мы это знание, точнее, нашу веру, что мы знаем это? Из области знаменитых «внутренних фактов», из которых ни один до сих пор не выказал своей фактичности. Мы воображали самих себя причинными в акте воли; уж по меньшей мере здесь-то мы полагали, что *поймали причинность с поличным*. Равным образом не сомневались в том, что все *antecedentia*¹ поступка, его причины, следует искать в сознании, и что они найдутся там, если их поискать – в качестве «мотивов»: иначе ведь мы не были бы свободны в поступках, не ответственны за них. Наконец, кто стал бы оспаривать, что мысль причиняется, что Я служит ее причиной?.. Из этих трех «внутренних фактов», которые, казалось, являются порукой за причинность, первым и самым убедительным является факт *воли как причины*: концепция сознания («духа») как причины, а еще позже концепция Я («субъекта») как причины родились лишь впоследствии, после того, как причинность была установлена волей как данность, как *эмпирия*... Но мы уже взялись за ум. Мы не верим нынче ни единому слову из всего этого. «Внутренний мир» полон призраков и блуждающих огней: один из них – это воля. Воля уже ничем не движет и, следовательно, также ничего не объясняет – она только сопровождает события, она может даже отсутствовать. Так называемый «мотив» – еще одно заблуждение. Просто поверхностный феномен сознания, спутник деяния, который скорее скрывает *antecedentia* деяния, нежели демонстрирует их. И даже Я! Оно стало басней, фикцией, игрой слов: оно совершенно перестало мыслить, чувствовать и хотеть!.. Что отсюда следует? Нет никаких духовных причин! Вся мнимая эмпирия в пользу этого пошла к черту! *Вот* что отсюда следует! – И мы мило злоупотребляли этот «эмпирией», мы *создали* на основании ее мир как мир причин, как мир воли, как мир духов. Над этим работала самая древняя и самая долговечная психология, она не делала ничего другого: всякое событие было для нее дея-

¹ предшествующие обстоятельства (*лат.*).

нием, всякое деяние – следствием воли, мир стал для нее множеством действующих лиц, действующее лицо («субъект») подсовывало себя под каждое событие. Человек выпроецировал из себя свои три «внутренних факта», то, во что он тверже всего верил, – волю, дух, Я; он выудил сперва понятие «бытие» из понятия Я; он понял «вещи» как нечто сущее по своему подобию, по своему понятию Я как причины. Что ж удивительного, если он потом всякий раз находил в вещах лишь то, *что вложил в них?* – Сама вещь, повторю, понятие «вещь», – просто рефлекс веры в Я как причину... И даже ваш атом, господа механики и физики, – сколько заблуждения, сколько рудиментарной психологии осталось еще в вашем атоме! – Не говоря уж о «вещи в себе», *horrendum pudendum*¹ метафизиков! Заблуждение о духе как причине смешать с реальностью! И сделать мерилом реальности! И назвать *Богом!*

4

Заблуждение, касающееся воображаемых причин. – Начнем со сновидения: под какое-нибудь определенное ощущение, возникшее, например, из-за отдаленного пушечного выстрела, задним числом подсовывается причина (часто целый маленький роман, в котором этот спящий является главным персонажем). Между тем ощущение продолжается, как бы в виде резонанса: оно словно ждет, когда инстинкт причины позволит ему выступить на передний план – теперь уже не в виде случая, а в виде «смысла». Пушечный выстрел выступает на сцену *каузальным* путем, в кажущемся обратном течении времени. Сперва переживается более позднее, мотивация, часто с сотней подробностей, стремительно высвечиваемых, словно вспышками молнии; *затем следует* выстрел... Что же случилось? Представления, *порожденные* неким состоянием, были ложно поняты как его причина. – Фактически мы делаем в бодрствующем состоянии то же самое. Большая часть наших обычных ощущений – всякого вида затруднение, гнёт, напряжение, взрыв в перекрестной

¹ ужасный срам (*лат.*).

игре органов, а особенно, в состоянии *nervus sympathicus* – возбуждают наш инстинкт причинности: мы хотим иметь основание на то, чтобы чувствовать себя *так-то и так-то* – чувствовать себя дурно или хорошо. Нам никогда не бывает достаточно просто констатировать факт, что мы чувствуем себя так-то и так-то: мы допускаем этот факт – *сознаем* его – лишь *когда* даем ему нечто вроде мотивировки. – Воспоминание, начинающее действовать в таких случаях без нашего ведома, приводит нас на память прежние состояния подобного рода и сросшиеся с ними каузальные толкования – а *не их* причинность. Разумеется, благодаря этому воспоминанию появляется и вера в то, что причинами были сопутствующие явления сознания. Так возникает *привычка* к известному причино-толкованию, которая в действительности затрудняет *исследование* причины и даже исключает его.

5

Психологическое объяснение этого. – Сведение чего-нибудь незнакомого к чему-нибудь знакомому облегчает, успокаивает, умиротворяет, кроме того, дает чувство власти. Незнакомое приносит с собою опасность, беспокойство, заботу – первое же побуждение инстинкта направлено на то, чтобы *устранить* это тягостное состояние. Первый принцип: лучше, когда есть хоть какое-нибудь объяснение, чем когда нет никакого. Так как дело идет, в сущности, лишь о желании освободиться от угнетающих представлений, то в средствах освободиться от них не бывают особенно разборчивы: первое представление, которым незнакомое объясняется как знакомое, действует так благотворно, что его «считают истинным». Доказательство от *удовольствия* («силы») как критерий истины. – Итак, инстинкт причинности обуславливается и возбуждается чувством страха. «Почему?» должно, если только возможно, не столько давать причину ради нее самой, сколько, скорее, *причину определенного сорта*, – успокаивающую, освобождающую, облегчающую. Первым следствием такой потребности оказывается то, что в качестве причины подставляется нечто уже *знакомое*, пережитое, записанное в воспоминании. Новое, неизведанное, чуждое в

качестве причины исключается. – Таким образом, ища причин, ищут не просто некий вид объяснений, а *избранный и привилегированный* вид объяснений – такой, благодаря которым быстрее и надежней всего устраняется чувство чуждого, нового, неизведанного, – словом, *самых привычных* объяснений. – Следствие: один вид установления причин все более перевешивает, концентрируется в систему и, наконец, выступает *доминирующим*, т.е. просто исключаящим *другие* причины и объяснения. – Банкир сейчас же думает о «деле», христианин – о «грехе», девушка о своей любви.

6

Вся область морали и религии подпадает под это понятие вообразяемых причин. – «Объяснение» *неприятных* общих ощущений. Они обуславливаются враждебными нам существами (злыми духами: самый прославленный случай – ложное понимание истеричек как ведьм). Они обуславливаются такими поступками, которые нельзя одобрить (чувство «греха», «греховности», подсовываемое под физиологическое недомогание, – всегда находишь основания быть недовольным собой). Они обуславливаются как наказания, как расплата за нечто, чего нам не следовало бы делать, чем нам не следовало бы *быть* (в бесстыдной форме обобщено Шопенгауэром в том положении, в котором мораль выступает тем, что она есть, настоящей отравительницей и клеветницей на жизнь: «Всякое великое страдание, все равно, телесное или духовное, говорит нам, чего мы заслуживаем, ибо оно не могло бы постичь нас, если бы мы его не заслуживали». Мир как воля и представление 2, 666). Они обуславливаются необдуманными, не приводящими к добру поступками (аффекты, чувства предполагаются в качестве причин, в качестве «виновных»; физиологические бедствия истолковываются с помощью *других* бедствий как «заслуженные»). – «Объяснение» *приятных* общих ощущений. Они обуславливаются упованием на Бога. Они обуславливаются сознанием добрых дел (так называемая «чистая» совесть, физиологическое состояние, порою как две капли воды схожее с удачным пищеварением). Они обуславливаются счастливым

исходом предприятий (наивное ложное заключение: счастливый исход предприятия вовсе не вызовет у какого-нибудь ипохондрика или Паскаля приятных общих ощущений). Они обуславливаются верой, любовью, надеждой – христианскими добродетелями. – В действительности все эти мнимые объяснения суть *результаты* и как бы переводы чувства удовольствия или неудовольствия на неправильный диалект: человек в состоянии надеяться *потому, что* основное физиологическое чувство снова стало сильным и богатым; уповают на Бога *потому, что* чувство полноты и силы дает человеку спокойствие. – Мораль и религия всецело относятся к *психологии заблуждения*: в каждом отдельном случае причину путают с воздействием; или истину путают с воздействием чего-то *считаемого* истинным; или же состояние сознания путают с причинностью этого состояния.

7

Заблуждение, касающееся свободной воли. – Мы нынче совершенно не сочувствуем понятию «свободная воля»: мы слишком хорошо знаем, что оно такое – самый сомнительный фокус теологов, какой только есть, с целью сделать человечество «ответственным» в их смысле, т.е. *сделать зависимым от них...* Я даю здесь лишь психологию всякого возлагания ответственности. – Всюду, где ищут ответственности, ищущим обыкновенно является инстинкт *желания наказывать и судить*. Становление лишают его невинности, если какое-нибудь положение вещей сводят к воле, к намерениям, к актам ответственности: учение о воле изобретено главным образом в целях наказания, т.е. *желания находить виновных*. Вся прежняя психология, психология воли, зиждется на том, что ее создатели, жрецы, стоявшие во главе древних общин, хотели закрепить за собой *право* присуждать к наказаниям – или закрепить такое право за Богом... Людей мыслили «свободными», чтобы их можно было судить и наказывать, – чтобы они могли стать *виновными*: следовательно, каждый поступок *должен был* мыслиться как намеренный, а источник каждого поступка – находящимся в сознании (– чем *наипринципиальнейшее* фальшивомонетни-

чество in psychologicis было возведено в принцип самой психологии...). Нынче, когда мы вступили в стадию *обратного* движения, когда мы, имморалисты, пытаемся всеми силами снова изъять из мира понятия вины и наказания и очистить от них психологию, историю, природу, общественные установления и санкции, в наших глазах не существует более радикальных противников, чем теологи, продолжающие, посредством «наказания» и «вины», заражать невинность становления понятием «нравственного миропорядка». Христианство есть метафизика палача...

8

В чем может заключаться *наше* учение? – Что никто не *дает* человеку его качеств – ни Бог, ни общество, ни его родители и предки, ни *он сам* (– бессмыслица последнего из отрицаемых здесь представлений имеет место в учении Канта, как «интеллигибельная свобода», а может быть, уже и у Платона). *Никто* не ответствен за то, что он вообще существует, что он устроен так-то и так-то, что он находится среди этих обстоятельств, в этом окружении. Фатальность его сущности невозможно вырвать из фатальности всего того, что было и что будет. Он *не* есть следствие собственного намерения, воли, цели, в лице его *не* делается попытка достичь «идеала человека», или «идеала счастья», или «идеала нравственности», – абсурдно пытаться *свалить* его сущность в какую-нибудь цель. Понятие «цель» изобрели *мы*: в реальности цель *отсутствует*... Ты необходим, ты частица рока, ты принадлежишь к целому, *существуешь* в целом – нет ничего, что могло бы судить, мерить, сравнивать, осуждать наше бытие, ибо это значило бы судить, мерить, сравнивать, осуждать целое... *Но нет ничего, кроме целого!* – Что никого больше не будут делать ответственным, что специфику бытия не смогут сводить к *causa prima*, что мир, ни как сенсориум, ни как «дух», не есть единство, *только это и есть великое освобождение*, – только этим и восстанавливается вновь *невинность* становления... Понятие «Бог» было до сих пор сильнейшим *возражением* против бытия... Мы отрицаем Бога, мы отрицаем ответственность в Боге: *этим* впервые спасаем мы мир.

«Исправители» человечества

1

Мое требование к философам известно: надо становиться *по ту сторону* добра и зла, оставлять иллюзию морального суждения далеко *внизу*. Это требование вытекает из понимания, впервые сформулированного именно мною: *что нет вообще никаких моральных фактов*. Моральное суждение имеет то общее с религиозным, что верит в реальности, не являющиеся таковыми. Мораль есть лишь истолкование известных феноменов, точнее говоря, *ложное* толкование. Моральное суждение, как и религиозное, относится к той ступени невежества, на которой ещё отсутствует само понятие реального, различение реального и воображаемого: так что слово «истина» на этой ступени служит обозначением исключительно того, что мы нынче называем «фантазиями». Поэтому моральное суждение никогда не следует принимать буквально: как таковое, оно содержит одну только нелепость. Однако оно остаётся неоценимым в качестве *семиотики*: оно открывает, по крайней мере сведущему, ценнейшие реальности культур и душевных миров, которые недостаточно *знали*, чтобы «понимать» самих себя. Мораль есть просто язык знаков, просто симптоматология: нужно сперва знать, *с чем* мы здесь имеем дело, чтобы извлечь из нее пользу.

2

Вот, в качестве первого и совершенно предварительного примера. Во все времена хотели «исправлять» людей: прежде всего *это* называлось моралью. Но за одним и тем же словом скрываются самые разнообразные тенденции. «Улучшением» называют как *укрощение* зверя «человека», так и *разведение* определенной породы человека: только с помощью этих зоологических *termini* можно выразить реальности, – разумеется, такие реальности, о которых типичный «испра-

витель», священник, ничего не знает, – не *желает* знать... Называть укрощение животного его «улучшением» – это звучит для наших ушей почти шуткой. Кто знает, что происходит в зверинцах, тот сомневается в том, чтобы зверя там «улучшали». Его ослабляют, делают менее опасным, из-за депрессивного аффекта страха, из-за боли, ран, голода он становится *болезненным* зверем. – Не иначе обстоит и с укрощенным человеком, которого «исправил» священник. В раннем средневековье, когда церковь действительно была прежде всего зверинцем, всюду охотились за прекраснейшими экземплярами «белокурых бестий», – «исправляли», например, знатных германцев. Но как выглядел после этого такой «исправленный», завлечённый в монастырь германец? Как карикатура на человека, как выродок: он сделался «грешником», он сидел в клетке, его заперли в круг сплошных ужасных понятий... И вот он слег, больной, жалкий, озлобленный на самого себя; полный ненависти к жизненным порывам, подозрений ко всему, что было ещё сильным и счастливым. Словом, «христианин»... Говоря физиологически: в борьбе со зверем разрушение его здоровья *может* быть единственным средством сделать его слабым. Церковь поняла это: она *испортила* человека, она ослабила его, – но она заявила претензию на то, что «исправила» его...

3

Возьмем другой случай так называемой морали – случай *выведения* определенной расы и породы. Грандиознейший пример этого дает индийская мораль, санкционированная как религия в качестве «Закона Ману». Здесь поставлена задача выведения разом не менее четырех рас: жреческой, воинской, торговой и земледельческой, и, наконец, расы слуг, шудр. Ясно, что здесь мы уже не среди укротителей зверей: чтобы разработать хотя бы только план подобной селекции, нужен во сто крат более мягкий и разумный вид человека. Вздыхаешь свободно, переходя из христианской атмосферы больниц и тюрем в этот более здоровый, высокий, *просторный* мир. Как убог «Новый Завет» по сравнению с Ману, как дурно он пахнет! – Однако и этой организации понадооби-

лось быть *устрашающей*, – на сей раз в борьбе не с бестией, а с *ее* антитезой, с беспородным человеком, с человеко-помесью, с чандалой. И опять-таки она не нашла другого средства сделать его безопасным, слабым, как сделав его *больным*, – это была борьба с «великим множеством». Возможно, не существует ничего более противоречащего нашему чувству, нежели *эти* предохранительные меры индийской морали. Третье предписание, например (Avadana-Sastra I), «о нечистых овощах», устанавливает, что единственной пищей, дозволенной чандале, должны быть лук и чеснок, с учетом, что священная книга воспрещает давать им зерна или плоды, носящие семена, или *воду*, или огонь. То же предписание устанавливает, что необходимая им вода не может быть взята ни из рек, ни из источников, ни из прудов, а лишь из подступов к болотам и углублений, оставленных следами животных. Равным образом им запрещалось стирать белье и *мыться самим*, так как данной им из милости водою они были вправе пользоваться лишь для утоления жажды. Наконец, следовал запрет женщинам-шудрам оказывать помощь женщинам-чандалам при родах, последним же нельзя было *помогать при родах друг другу*... – Эффект от таких санитарно-полицейских предписаний не замедлил сказаться: смертельные эпидемии, омерзительные половые болезни, по отношению к которым – опять же применение «закона ножа»: обрезание для мальчиков, удаление малых срамных губ для девочек. – Сам Ману говорит: «Чандала – плод прелюбодеяния, кровосмешения и преступления (– это *необходимая* последовательность понятия селекции). Одеждой им должны служить лишь лохмотья с трупов, посудой – разбитые горшки, украшениями – старое железо, а для богослужений только злые духи; они должны без отдыха скитаться. Им воспрещается писать слева направо и пользоваться для писания правой рукой: обычай делать это правой рукой и слева направо закреплен только за *добродетельными*, за людьми *расы*». –

Эти предписания довольно поучительны: в них мы имеем собственно *арийскую* гуманность в совершенно чистом, в

совершенно первоначальном виде, – мы узнаем, что понятие «чистая кровь» является антиподом какой бы то ни было безобидности. С другой стороны, становится ясным, в каком народе увековечилась ненависть, чандальная ненависть к этой «гуманности», где она стала религией, где она стала *гением*... С этой точки зрения свидетельством перво-степенной важности являются Евангелия; а еще более – книга Еноха. – Христианство, имеющее иудейский корень и постижимое лишь как растение этой почвы, представляет собою *противоход* всякой морали отбора, расы, привилегии: это *антиарийская* религия *par excellence*; христианство – переоценка всех арийских ценностей, победа ценностей чандалы, проповедь Евангелия нищим и низкородным, всеобщее восстание всех попираемых, униженных, неудавшихся, пострадавших против «расы», – бессмертная месть чандалы как *религия любви*...

5

По тем средствам, которые мораль *выведения породы* и мораль *укрощения* применяют для достижения своих целей, они вполне стоят друг друга: мы вправе в качестве высшего постулата констатировать, что для *создания* морали нужно иметь безусловно волю к чему-то совершенно противоположному ей. Вот великая, *жуткая* проблема, которую я преследовал дольше всего: психология «исправителей» человечества. Маленький и, в сущности, скромный факт, факт так называемой *ria graus*¹, дал мне первый подступ к этой проблеме: *ria graus*, наследие всех философов и жрецов, которые «исправляли» человечество. Ни Ману, ни Платон, ни Конфуций, ни иудейские и христианские учителя никогда не сомневались в своем *праве* на ложь. Они не сомневались в *совсем других правах*... Формулируя это, можно сказать: *все средства, с помощью которых человечество пытались до сих пор сделать нравственным, были совершенно безнравственны.* –

¹ святая ложь (*лат.*).

Чем обделены немцы

1

Среди немцев нынче недостаточно иметь ум: нужно еще заявить претензию на него, *позволить* себе быть умным...

Возможно, я знаю немцев, возможно, я даже вправе высказать им несколько истин. Новая Германия демонстрирует уйму унаследованных и привитых способностей, так что даже может некоторое время расточительно расходовать накопленное сокровище силы. В ее лице достигла господства *не* высокая культура, и тем более не утонченный вкус или аристократическая «красота» инстинктов, но *более мужские* добродетели, нежели те, что способна выказать какая-либо другая страна Европы. Здесь много бодрости и самоуважения, спокойной надежности в общении, во взаимности обязанностей, много трудолюбия, выносливости – и унаследованная умеренность, нуждающаяся скорее в шпорах, чем в тормозах. Прибавлю к этому, что тут еще повинуются так, что это не унижает повинующихся... И никто не презирует своего противника...

Вы видите, мое желание – быть справедливым к немцам: мне не хотелось бы изменить себе в этом, – стало быть, я должен также сказать, что я имею против них. Приход к власти обходится дорого: власть *оглуляет*... Немцы – их называли некогда народом мыслителей, – мыслят ли они сегодня вообще? Немцы скучают теперь от ума, немцы не доверяют теперь уму, политика поглощает всю серьезность, нужную для действительно духовных вещей – «Deutschland, Deutschland über Alles», я боюсь, что это стало концом немецкой философии... «Есть ли немецкие философы? есть ли немецкие поэты? есть ли *хорошие* немецкие книги?» – спрашивают меня за границей. Я краснею, но с храбростью, свойственной и мне в отчаянных случаях, отвечаю: «Да, *Бисмарк!*» – Разве я могу хотя бы сознаться в том, какие книги нынче читают?... Проклятый инстинкт посредственности! –

2

Чем *мог бы* быть немецкий ум, кто только не размышлял об этом с тоскою! Но этот народ самовольно одурял себя почти в течение тысячи лет: нигде так порочно не злоупотребляли двумя сильнейшими европейскими наркотиками – алкоголем и христианством. С недавних пор к ним прибавилось еще и третье, которое одно уже способно доконать всякую тонкую и смелую духовную подвижность, – музыка, наша засоренная, засоряющая немецкая музыка. – Сколько угрюмой тяжести, вялости, сырости, заспанности, сколько *пива* в немецкой интеллигенции! Как это собственно возможно, что молодые люди, посвящающие жизнь духовным целям, не ощущают в себе даже первейшего инстинкта духовности, *инстинкта самосохранения духа* – и пьют пиво?.. Алкоголизм ученой молодежи, быть может, еще не ставит вопроса касательно их учености – можно даже без всякого духа быть великим ученым, – но во всех других отношениях он остается проблемой. – Где только не найдешь его, этого мягкого вырождения, которое производит в духовной области пиво! Я указал уже однажды на такое вырождение в случае, ставшем почти знаменитым, – вырождение нашего первого немецкого вольнодумца, *умного* Давида Штрауса, в автора евангелия для распивочных и «новой веры»... Недаром он в стихах принес «прелестной шатенке» обет верности до гроба...

3

Я сказал о немецком уме, что он стал грубее, что он опошляется. Довольно ли этого? – В сущности, меня ужасает нечто совершенно другое: то, как все более деградирует немецкая серьезность, немецкая глубина, *немецкая* страстность в сфере духа. Изменился пафос, а не просто степень интеллектуальности. – Возьмем хотя бы немецкие университеты: что за атмосфера царит среди их ученых, какой бесплодный, какой невзыскательный и остывший дух! Предъявлять мне здесь в качестве возражения немецкую науку было бы глубоким недоразумением, да еще и доказательством того,

что человек не читал ни одного слова из моих сочинений. В течение семнадцати лет я неустанно указывал на *обездушивающее* влияние нашей теперешней индустрии науки. Суровое илотство, на которое нынче всякого осуждает чудовищный объем наук, является главной причиной того, что более одаренные, богатые, *глубокие* натуры уже не находят достойного их воспитания, *а также воспитателей*. Ни от чего наша культура не страдает *больше*, нежели от изобилия чванливых поденщиков и людей ущербных: наши университеты служат, против воли, настоящими теплицами для подобного оскудения духовного инстинкта. И вся Европа уже понимает это – большая политика никого не обманет... Германия все больше слывет европейской *низинной*. – Я все еще *ищу* немца, с которым я мог бы быть на свой лад серьезен, – но во сто крат больше *ищу* такого, с которым я мог бы быть беззаботен! – *Сумерки идолов*: ах, кто бы понял нынче, *от какой серьезности* отдыхает тут отшельник! – Беззаботность в нас самое непостижимое...

4

В общем и целом: то, что немецкая культура приходит в упадок – это не только очевидно, но и совершенно закономерно. В конечном счете, никто не может дать больше, чем у него есть – это относится и к отдельным личностям, и к целым народам. Если растрачиваешь себя на власть, на большую политику, на экономику, международные отношения, парламентаризм, военные интересы, если отдаешь имеющуюся в твоём распоряжении меру разума, серьезности, воли, самопреодоления на *эту* сторону, то для другой стороны у тебя этого уже не найдется. Культура и государство – антагонисты, и не стоит обманываться на этот счет: «культурное государство» есть просто современная идея. Одно питается другим, одно преуспевает за счет другого. Все великие эпохи культуры суть эпохи политического упадка: что велико в смысле культуры, то было неполитичным, даже *антиполитичным*... У Гёте сердце заходило от феномена Наполеона, – во время «войн за свободу» оно у него *зашло*... В то самое мгновение, как Германия выдвинулась в качестве

великой державы, Франция приобрела новое значение в качестве *державы культурной*. Уже сейчас много новой серьезности, много новой духовной *страстности* перекочевало в Париж; к примеру, вопрос пессимизма, вопрос Вагнера, почти все психологические и артистические вопросы трактуются там несравненно тоньше и основательнее, чем в Германии, – немцы даже *не способны* на серьезность такого рода. – В истории европейской культуры возникновение «рейха» означает прежде всего одно: *перенос центра тяжести*. Везде уже знают: в главном – а им остается культура – немцы больше не принимаются в расчет. Спрашивают: можете ли вы указать хоть на один имеющий европейское *значение* ум, каким был ваш Гёте, ваш Гегель, ваш Генрих Гейне, ваш Шопенгауэр? – То, что больше нет ни одного немецкого философа, вызывает бесконечное удивление.

5

Все высшее воспитательное дело в Германии лишилось главного – *цели*, равно как и *средства* для достижения цели. О том, что воспитание, *образование* (а не «империя») само есть цель, что для этой цели нужны *воспитатели* – а не учителя гимназий и университетские ученые – об этом забыли... Нужны воспитатели, которые *сами воспитаны*, превосходящие других, аристократы духа, доказывающие это каждую минуту, доказывающие это и словом и молчанием, зрелые, созревшие до *сладости* культуры, – а не ученые пентюхи, каких нынче в качестве «высших няnek» преподносят юношеству гимназия и университет. Воспитателей *нет*, не считая исключений из исключений, нет *первейшего* предварительного условия воспитания – *отсюда* упадок немецкой культуры. – Одним из этих редчайших исключений является мой досточтимый друг Якоб Буркхардт в Базеле: ему прежде всего обязан Базель своей высокой репутацией в гуманитарной сфере. – То, чего на деле достигают «высшие школы» Германии, есть зверская дрессировка с целью приготовить с минимальной затратой времени множество молодых людей на пользу и *на расход* государственной службе. «Высшее воспитание» и *множество* – это изначально про-

тиворечит одно другому. Всякое высшее воспитание пододбает лишь исключениям: нужно быть привилегированным, чтобы иметь право на такую высокую привилегию. Все великие, все прекрасные вещи никогда не смогут быть общим достоянием: *pulchrum est paucorum hominum*¹. – Что обуславливает упадок немецкой культуры? Что «высшее воспитание» уже не является уделом избранных – демократизм «всеобщего», ставшего *пошлым* «образования»... Не следует забывать, что воинские льготы прямо-таки вынуждают *слишком многих к посещению* высших школ, т. е. способствуют их упадку. – Никто уже не волен в нынешней Германии дать своим детям аристократическое воспитание: все наши «высшие» школы с их учителями, учебными планами, учебными целями рассчитаны на самую двусмысленную посредственность. И всюду царит неприличная торопливость, точно будет что-нибудь упущено, если молодой человек в 23 года еще не «готов», еще не знает, что ответить на «главный вопрос»: *к какой профессии он призван?* – Высшая порода людей, с позволения сказать, не любит профессий, именно потому, что сознает себя призванной... У нее есть время, она не спешит, она вовсе не думает о своей «готовности», – в тридцать лет, в смысле высшей культуры, являешься начинающим, ребенком. – Наши переполненные гимназии, наши обремененные, отупевшие учителя гимназий – ведь это скандал: на то, чтобы защищать такое положение дел, как это было недавно сделано профессорами Гейдельберга, может быть и есть *причины*, но оснований для этого нет.

6

Чтобы остаться верным своему характеру, характеру *утверждающему* и лишь косвенно, лишь поневоле имеющему дело с противоречием и критикой, я тут же формулирую три задачи, ради которых нужны воспитатели. Надо научиться *смотреть*, надо научиться *мыслить*, надо научиться *говорить* и *писать*: целью всех трех является аристократическая культура. – Научиться *смотреть* – приучить глаз к покою, к тер-

¹ прекрасное принадлежит немногим (*лат.*). Цитата из Горация.

пению, к погружению-в-себя; откладывать вынесение суждения, научиться со всех сторон обходить и охватывать частный случай. Такова *первая* подготовка к духовному развитию: *не* реагировать тотчас же на раздражение, а приобрести тормозящие, запирающие инстинкты. Научиться *смотреть*, как я понимаю это, есть почти то же самое, что на нефилософском языке называется сильной волей: суть этого как раз в том, чтобы *не* «хотеть», *быть в состоянии* откладывать решение. Вся бездуховность, вся пошлость зиждется на неспособности сопротивляться раздражению, – на *обязанности* реагировать, следовать каждому импульсу. Во многих случаях такая обязанность является уже болезненностью, упадком, симптомом истощения, – почти всё, что нефилософское невежество называет именем «порока», есть просто та самая физиологическая неспособность *не* реагировать. – Применение выучки смотреть: делаешься, как *учащийся* вообще, медлительным, недоверчивым, сопротивляющимся. К чуждому, ко всякой разновидности *нового* приближаешься поначалу с враждебным спокойствием, – отдергиваешь от него руку. Двери, открытые нараспашку, покорная простертость на брюхе перед каждым маленьким фактом, постоянная готовность влезть, *запрыгнуть* в других и в другое, словом, прославленная современная «объективность» – это дурной вкус и *неблагодество* par excellence.

7

Научиться *мыслить*: в наших школах не имеют более никакого понятия об этом. Даже в университетах, даже среди настоящих знатоков философии логика как теория, как практика, как *ремесло* начинает вымирать. Почитайте немецкие книги: никакого, даже самого отдаленного, воспоминания о том, что для мышления нужна техника, учебный план, воля к мастерству, – что мышлению нужно обучать, как обучают танцам, как если бы это *и был* своего рода танец... Кто из немцев знает еще по опыту ту тончайшую дрожь, когда *легконогость* духа струит и излучает себя во всю мускулатуру? – Напыщенная неуклюжесть духовных жестов, *грубость* ручищ, пытающихся ухватить суть дела – это нечто

до такой степени немецкое, что за границей это путают с немецкой натурой вообще. У немца нет *пальцев* для *пианес*... Одно то, что немцы выдерживали своих философов, прежде всего этого скрюченного инвалида понятий, *великого* Канта, дает уже немалое понятие о немецком изяществе. – В том-то и дело, что нельзя из *аристократического воспитания* исключать *танцы* во всех их формах, – умение танцевать ногами, понятиями, словами: стоит ли мне еще говорить, что надо уметь танцевать и *пером*, – что нужно учиться *писать*? – Но в этом месте я, должно быть, становлюсь для немецких читателей полнейшей загадкой...

Набеги Несвоевременного¹

1

Мои невозможные. – *Сенека*, или тореадор добродетели. – *Руссо*, или возвращение к природе in impuris naturalibus². – *Шиллер*, или трубач морали из Зэкингена. – *Данте*, или гиена, стихотворствующая в могилах. – *Кант*, или sant как интеллигибельный характер. – *Виктор Гюго*, или маяк у моря безумия. – *Лист*, или школа беглости – за женщинами. – *Жорж Санд*, или lactea ubertas, по-немецки: дойная корова с «прекрасным стилем». – *Мишле*, или вдохновение, снимающее сюртук. – *Карлейль*, или пессимизм, как вышедший назад обед. – *Джон Стюарт Милль*, или оскорбительная ясность. – *Les freres de Goncourt*, или два Аякса в борьбе с Гомером. Музыка *Оффенбаха*. – *Золя*, или «радость быть вонючим».

2

Ренан. – Теология, или испорченность разума «наследственным грехом» (христианство). Доказательство – Ренан, который промахивается с томительной регулярностью, едва только рискнет на какое-нибудь Да или Нет обобщенного характера. Ему хотелось бы, например, соединить в одно la science и la noblesse, но la science относится к демократии, ведь это ясно, как день. Он желает, с немалым честолюбием, представлять собою духовный аристократизм, но вместе с тем он ползает на коленях, и не только на коленях, перед противоположным ему учением, перед evangile des

¹ См. комментарии.

² в природных нечистотах (лат.).

humbles'... Что может поделаться все вольнодумство, весь модернизм, вся насмешливость и проворство вертишейки, если ты с потрохами остался христианином, католиком и даже священником! Ренан совершенно иезуитски и духовнически изобретателен в оболъщении; его духовной манере не чужды широкие поповские улыбки, – он, как и все священнослужители, становится опасным лишь когда любит. Никто не сравнится с ним в искусстве поклоняться с такой опасностью для жизни... Этот дух Ренана, дух *ослабленный*, – еще один рок для бедной, больной, слабовольной Франции.

3

Сент-Бев. – Ничего мужского; полон мелкой злобы ко всем мужественным умам. Слоняется, тонкий, любопытный, скупающий, подслушивающий, – в сущности особа женского пола, с женской мстительностью и женской чувственностью. Как психолог, гений de la *médisance*²; неистоичимо богат подходящими для этого средствами; никто не умеет лучше его смешивать похвалу с ядом. Плебей в своих низших инстинктах, в родстве с ресентиментом Руссо: *следовательно*, романтик, – ибо под всяким *romantisme* хрюкает и рыщет инстинкт мести Руссо. Революционер, но еще кое-как сдерживаемый страхом. Несвободный перед всем, что обладает силой (общественное мнение, академия, двор, даже Пор-Рояль). Озлобленный против всего великого в людях и вещах, против всего, что верит в себя. Ему еще хватает поэтизма и половинчатой женскости, чтобы чувствовать мощь великого; но постоянно извивается, как пресловутый червь, потому что постоянно чувствует себя придавленным. Как критик лишен масштаба, опоры и хребта, с языком космополитического либертина для чего угодно, но без мужества хотя бы сознаться в *libertinage*. Как историк нефилософичен, без *властности* философского взора, – поэтому во всех главных вещах увиливает от задачи судить, прикрываясь маской «объективности». Совсем иначе он ведет себя

1 евангелие смиренных (*фр.*).

2 злословия (*фр.*).

по отношению ко всем тем вещам, где высшей инстанцией служит тонкий, изощренный вкус: тут у него действительно появляется мужество быть собою, удовольствие быть собою, – тут он *мастер*. – С некоторых точек зрения это предтеча Бодлера.

4

Imitatio Christi относится к числу книг, которые я держу в руках не без физиологического отвращения: от нее несет парфюмом Вечно-Женственного, для которого уже нужно быть французом – или вагнерианцем... У этого святого такая манера говорить о любви, что даже у парижанок возбуждает любопытство. – Мне говорили, что тот *умнейший* иезуит, Ог. Конт, который хотел привести своих французов *окольным путем* науки в Рим, вдохновился этой книгой. Я верю этому: «религия сердца»...

5

Дж. Элиот. – Они освободились от христианского Бога и полагают, что тем более должны удерживать христианскую мораль: это *английская* последовательность; мы не будем вменять ее в вину нравственным тетенькам la Элиот. В Англии после малейшего отхода от теологии приходится самым устрашающим образом восстанавливать свою репутацию под видом фанатика морали. Там это *штраф*, который платят. – Для нас, других, все обстоит иначе. Отрекаясь от христианской веры, выдергиваешь этим у себя из-под ног *право* на христианскую мораль. Последняя – отнюдь *не* нечто само собой разумеющееся: на это обстоятельство постоянно нужно указывать, наперекор английским тупицам. Христианство есть система, сообразованное и *цельное* воззрение на вещи. Если из него выломаешь главное понятие, веру в Бога, то разрушаешь этим также и целое: ничего обязательного в руках больше не остается. Христианство предполагает, что человек не знает, не *может* знать, что для него добро и что зло: он верит в Бога, который один знает это.

Христианская мораль есть повеление; ее источник трансцендентен; она находится по ту сторону всякой критики, всякого права на критику; она истинна лишь в том случае, если Бог есть истина, – она держится и падает вместе с верой в Бога. – Если фактически англичане верят, что сами, «интуитивно», знают, что является добрым и злым, если они, следовательно, полагают, что христианство как гарантия морали им больше не нужно, то это – лишь *следствие* господства христианских суждений о ценностях и выражение *силы и глубины* этого господства. Так что источник английской морали забыт, а строгая обусловленность ее права на существование больше не ощущается. Для англичанина мораль еще вовсе не проблема...

6

Жорж Санд. – Я читал первые *lettres d'un voyageur*: они, как и все, что ведет свое происхождение от Руссо, фальшивы, деланны, напыщенны, утрированы. Я не выношу этого пестрого коврового стиля, равно как и плебейской претензии на благородные чувства. Самым худшим, конечно, останется женское кокетничанье мужскими повадками, манерами невоспитанных юнцов. – Как холодна она должна была быть при всем этом, эта несносная художница! Она заводила себя, как часы, – и писала... Холодная, как Гюго, как Бальзак, как все романтики, когда они сочиняли! И как самодовольно она, должно быть, при этом возлежала, эта плодовитая пишущая корова, в которой было нечто в худшем смысле немецкое (подобно самому Руссо, ее учителю), и которую во всяком случае сделал возможным только упадок французского вкуса! – Но Ренан чтит ее...

7

Мораль для психологов. – Не заниматься репортажной психологией! Никогда не наблюдать для того только, *чтобы* наблюдать! Это создает оптический обман, косоглазие, нечто вынужденное, преувеличенное. Переживание и *хотение* пе-

реживать не тождественны. Не *следует*, переживая что-нибудь, озираться на себя, каждый взгляд становится тут «сглазом». Прирожденный психолог инстинктивно остерегается видеть для одного лишь только видения; то же самое можно сказать и о прирожденном живописце. Он никогда не работает «с натуры», – он предоставляет своему инстинкту, своей *самега obscura* просеивать и выражать «случай», «природу», «пережитое»... Только *общее* проникает в его сознание, только заключение, результат: ему незнакомо это произвольное абстрагирование от отдельного случая. – А что выходит, если поступать иначе? Например, наподобие парижских *romanciers* заниматься репортажной психологией в больших и малых формах? Они как бы подкарауливают действительность, снабжая на каждый вечер целой пригоршней курьезов... Но посмотрите только, что в итоге из этого выходит, – множество пятен, в лучшем случае мозаика, в любом случае нечто составное, беспокойное, кричащее красками. Самого худшего в этом достигают Гонкуры: они не могут составить и трех фраз, которые просто не оскорбляли бы глаз, глаз *психолога*. – Природа, если оценивать ее артистически, вовсе не модель. Она преувеличивает, она искажает, она оставляет пробелы. Природа – это *случай*. Работа «с натуры» кажется мне дурным признаком: она выдает подчиненность, слабость, фатализм, – это падение ниц перед *petits faits*¹ недостойно *цельного* художника. Видеть то, *что есть*, присуще людям совсем иного рода, – *анти-артистическим*, людям факта. Надо знать, *кто ты такой*...

8

К психологии художника. – Чтобы существовало искусство, чтобы существовало любое эстетическое деяние и созерцание, необходима одна физиологическая предпосылка – *опьяненность*. Опьяненность должна сперва усилить возбудимость всей машины: иначе до искусства дело не дойдет. Движущей силой для этого обладают все виды опьянения, сколь разнообразны ни были бы их причины: прежде всего

¹ маленькие факты (*фр.*).

опьянение полового возбуждения, эта древнейшая, исходная форма опьянения. Равным образом опьянение, являющееся следствием всяких страстных вожделений, сильных аффектов: опьянение празднеством, состязанием, браваурной пьесой, победой, любым резким возбуждением; опьянение жестокостью; опьянение духом разрушения; опьянение под влиянием известных метеорологических явлений, например, весеннее опьянение; или под влиянием наркотика; наконец, опьянение волей, опьянение накопившейся и вздувшейся, как вена, волевой энергией. – Существенным в опьянении является чувство возрастания сил и их избытка. Это чувство мы изливаем на вещи, мы *принуждаем* их брать от нас, мы насилуем их, – это явление называют *идеализированием*. Освободимся же тут от предрассудка: идеализирование *не* состоит, как обыкновенно думают, в сбрасывании со счетов или исключении незначительного, побочного. Скорее решающим является чудовищное *выпячивание* главных черт, так что другие при этом исчезают.

9

В этом состоянии обогащаешь все из своего собственного избытка: все, что видишь, чего хочешь, представляется нам вздувшимся, сгущенным, могучим, перегруженным силой. Человек в этом состоянии преображает вещи до тех пор, пока они не начнут отражать его мощь, – пока они не станут отражениями его совершенства. Эта *обязанность* превращать в совершенное есть искусство. Даже все то, чем он не является, становится для него несмотря на это чистым наслаждением; в искусстве человек наслаждается собою, как совершенством. – Позволим себе представить противоположное состояние, специфическую антихудожественность инстинкта, – бытие таким, кто обедняет, истончает все вещи, делая их чахоточными. И в самом деле, история богата такими антиартистами, такими заморышами жизни, которые неизбежно должны питаться вещами, обглаживать их, делать их *более тощими*. Таков, например, случай истого христианина, например Паскаля; христианина, который был бы вместе с тем и художником, *встретить нельзя...* Не следу-

ет с детской простотою приводить мне в ответ пример Рафаэля или каких-нибудь гомеопатических христиан девятнадцатого столетия: Рафаэль говорил «Да», Рафаэль *делал* «Да», следовательно, Рафаэль не был христианином...

10

Что означает введенная мною в эстетику антитеза *аполло-нического и дионисического*, если понимать их как виды опьянения? – Аполлоническое опьянение держит в состоянии возбуждения прежде всего глаз, так что он обретает способность к видениям. Живописец, пластик, эпический поэт – визионеры *par excellence*. В дионисическом состоянии, напротив, возбуждена и усилена вся система аффектов: так что она разом разряжает все свои средства выражения, выкаывая одновременно силу изображения, подражания, преобразования, превращения, всякого вида мимику и актерство. Ключевой остается легкость метаморфоза, неспособность *не* реагировать (подобно некоторым истеричным субъектам, которые также, по первому знаку, входят во *всякую* роль). Для дионисического человека невозможно не поддаться какому-либо внушению, он не проглядит ни единого знака аффекта, он наделен наивысшей степенью понимающего и угадывающего инстинкта, равно как и наивысшей степенью искусства передачи. Он залезает в любую шкуру, в любой аффект: он постоянно преобразуется. – Музыка, как мы ее сегодня понимаем, есть как бы общее возбуждение и разрядка аффектов, и все же это лишь остаток гораздо более полного мира выражений аффекта, лишь *residuum*¹ дионисического гистрионизма. Чтобы музыка стала возможной как обособленное искусство, заставили умолкнуть немало чувств, прежде всего мускульное чувство (по крайней мере относительно: ибо всякий ритм в известной степени еще говорит нашим мускулам); так что человек уже не воспроизводит и не изображает тотчас в лицах все то, что он чувствует. Тем не менее *это* – подлинно нормальное дионисическое состояние, во всяком случае первозданное

¹ остаток (*лат.*).

состояние; музыка есть его долго достигавшаяся, в ущерб близкородственным способностям, спецификация.

11

Актер, мим, танцор, музыкант, лирик глубоко родственны по своим инстинктам и по сути являются одним целым, но постепенно они специализировались и отделились друг от друга – доходя даже до противоречия. Лирик дольше всего составлял одно целое с музыкантом, актер с танцором. – *Зодчий* не представляет собою ни дионисического, ни аполлонического состояния: тут перед нами великий волевой акт, воля, сдвигающая горы, опьянение великой воли, жаждающей искусства. Зодчих всегда вдохновляли самые могущественные люди; зодчий всегда находился под внушением власти. В архитектурном произведении должна воплощаться гордость, победа над тяжестью, воля к власти; архитектура есть нечто вроде красноречия власти, вылившееся в формах, то убеждающего, даже льстящего, то исключительно повелевающего. Высшее чувство власти и уверенности выражается в тех вещах, которые обладают *великим стилем*. Власть, которой уже не нужны подтверждения; которая пренебрегает тем, чтобы нравиться; которая с трудом отвечает; которая не чувствует рядом с собой свидетелей; которая живет без тени сознания того, что ей могут противоречить; которая покоится в *себе*, фаталистичная, закон из законов: *вот что* заявляет о себе как великий стиль.

12

Я читал жизнь *Томаса Карлейля*, этот невольный и не ведающий себя фарс, эту героико-моральную интерпретацию диспетических состояний. – Карлейль, человек решительных фраз и поз, ритор *поневоле*, которого постоянно возбуждает жажда сильной веры, *а также* чувство неспособности к ней (в этом он типичный романтик!). Жажда сильной веры *не* доказывает еще присутствия ее, скорее напротив. *Тот, кто имеет ее*, может позволить себе прекрасную роскошь

скепсиса: для этого он достаточно уверен, достаточно твёрд, достаточно связан. Посредством fortissimo своего преклонения перед людьми сильной веры и своей яростью по отношению к людям менее простодушным Карлейль старается что-то заглушить в себе: ему *нужен* шум. Постоянная страстная *бесчестность* по отношению к себе – это его *prorgium*¹, этим он был и остается интересен. – Конечно, в Англии его чтут именно за его честность... Что ж, это по-английски; а принимая во внимание, что англичане представляют собою народ совершеннейшего *sant*, – не только понятно, но даже естественно. В сущности Карлейль – английский атеист, ищущий своей чести в том, чтобы *не* быть им.

13

Эмерсон. – Гораздо более просвещенный, увлекающийся, разносторонний, утонченный, нежели Карлейль, прежде всего более счастливый... Из тех, кто инстинктивно питается одной амброзией, оставляя нетронутым неудобоваримое в вещах. По сравнению с Карлейлем человек вкуса. – Карлейль, очень его любивший, тем не менее сказал о нем: «То-го, что он дает, *нам* не хватает на укус», – что, может быть, сказано справедливо, но не служит упреком Эмерсону. – Эмерсон обладает той доброй и гениальной веселостью, которая обезоруживает всякую серьезность; он совершенно не знает того, насколько он уже стар и насколько он еще будет молод, – он мог бы сказать о себе словами Лопе да Вега: «Yo me sucedo a mi mismo»². Его ум всегда находит основания быть довольным и даже благодарным; а иногда он напоминает в своей веселой трансцендентности того доброго малого, который вернулся с любовного свидания *tamquam re bene gesta*³. «Ut desint vires, – сказал он с благодарностью, – tamen est laudanda voluptas»⁴.

1 свойство (*лат.*).

2 я следую самому себе (*исп.*).

3 словно бы все удалось (*лат.*).

4 Пусть не хватает сил, но само сладострастие заслуживает похвалы» (*лат.*). См. комментарии.

Анти-Дарвин. – Что касается пресловутой «борьбы за существование», то она представляется мне скорее голословным утверждением, нежели чем-то доказанным. Она присутствует, но как исключение; суммарный аспект жизни – не нужда, не голод, а, напротив, богатство, изобилие, даже абсурдная расточительность, – там, где борются, борются за *власть*... Не следует путать Мальтуса с природой. – Но если предположить, что эта борьба существует – а она и в самом деле присутствует, – то исход ее, к сожалению, обратен тому, которого хочет дарвинизм и которого мы *были бы вправе* желать вместе с ним, а именно: победа оказывается не на стороне сильных, привилегированных, счастливых исключений. Род растет *не* в направлении совершенства: слабые снова и снова становятся господами над сильными, – это оттого, что их большинство и они *умнее*... Дарвин забыл про духовное (как это по-английски!), *у слабых его больше*... Чтобы стать богаче духом, надо в нем нуждаться, – его теряют, когда он более не нужен. Кто обладает силой, тот отказывается от духа (– «пускай себе испаряется! – думают нынче в Германии, – *рейх*-то у нас останется»...). Как видите, я понимаю под духом осторожность, терпение, хитрость, притворство, великое самообладание и все, что является мимикрией (в разряд последней входит большая часть так называемой добродетели).

Казуистика психолога. – Вот знаток людей – для чего он собственно изучает их? Он хочет выудить себе маленькие преимущества перед ними или даже большие, – он политик!.. Вот тоже знаток людей – а вы говорите, что он не ищет в этом никакой выгоды для себя, что это великий «безличный». Вглядитесь пристальней! Быть может, он хочет даже еще более *недоброго* преимущества – чувствовать себя выше людей, иметь право смотреть на них сверху вниз, больше уже не смешивать себя с ними. Этот «безличный» *презирает* людей, – а тот первый являет собой более гуманную *species*,

что бы ни говорила внешность. Он по крайней мере становится вровень с ними, становится *в их ряды* ...

16

Мне кажется, что целый ряд случаев, представить перечень которых мне мешает моя скромность, ставит *психологический такт* немцев под серьезный вопрос. Но в одном случае у меня не будет недостатка в поводе для обоснования моего тезиса: я не могу простить немцам, что они ошиблись в *Канте* и его «философии лазеек», как я называю ее, – это *не* был тип интеллектуальной честности. – Другое, чего я не могу слышать, это пресловутое «и»: немцы говорят «Гёте и Шиллер», – боюсь, что они говорят «Шиллер и Гёте»... Разве этого Шиллера еще не *знают*? – Есть еще худшие «и»; я слышал собственными ушами, конечно лишь среди университетских профессоров: «Шопенгауэр и Гартман»...

17

Самые одухотворенные люди, при условии, что столь же исключительно их мужество, имеют дело еще и с несказанно мучительными трагедиями – но именно потому и чтут они жизнь, что она противостоит им всею своей мощью.

18

К «интеллектуальной совести». – Ничто не кажется мне более редким нынче, чем истое лицемерие. Сильно подозреваю, что этому растению не полезен мягкий воздух нашей культуры. Лицемерие относится к векам сильной веры: когда даже при *принуждении* выставлять напоказ другую веру не отступались от той веры, которую имели. Нынче от нее отступаются; или, что еще обычнее, прибавляют себе еще вторую веру, – в любом случае остаются *честными*. Без сомнения, нынче возможно гораздо большее число убеждений, чем прежде: возможно, т.е. дозволено, т.е. *безвредно*.

Отсюда возникает терпимость по отношению к самим себе. – Терпимость по отношению к самим себе допускает множественность убеждений: они сосуществуют вместе, они, как и все нынче, остерегаются компрометировать себя. Чем сегодня можно себя скомпрометировать? Тем, что ты последователен. Тем, что идешь по прямой. Тем, что в твоей *многозначности* «много» – это *меньше* пяти¹. Тем, что честен... Я очень боюсь, что современный человек просто слишком изнежен для некоторых пороков: так что последние прямо-таки вымирают. Всё злое, обусловленное сильной волей, – а, быть может, нет ничего злого без силы воли – в нашем тёплом воздухе вырождается в добродетель... Немногие лицемеры, с которыми я познакомился, подделывали лицемерие: они были, как это свойственно в наши дни чуть ли не каждому десятому, актерами.

19

Прекрасное и безобразное. – Нет ничего более условного, скажем, более *ограниченного*, нежели наше чувство прекрасного. Кто захотел бы мыслить его свободным от удовольствия, доставляемого человеку человеком, тотчас потерял бы почву под ногами. «Прекрасное само по себе» – это просто слова, даже не понятие. Мерилом совершенства в прекрасном делает себя человек; в избранных случаях он поклоняется в этом себе. Род не *может* иначе, как таким вот образом, говорить «Да» себе и только себе. *Самый глубинный* его инстинкт, инстинкт самосохранения и самораспространения, проецирует себя даже на такие тонкие материи. Человек считает и самый мир наполненным красотой, – он *забывает* себя как ее причину. Он один и одарил его красотой, – только вот красотой человеческой, слишком человеческой... В сущности, человек смотрится в вещи, он считает прекрасным все, что отражает ему его образ: оценка «прекрасное» есть его *родовое тщеславие*... Во всяком случае скептику некоторое недоверие могло бы шепнуть на ухо: действительно ли мир украшает то, что именно человек

1 букв.: «тем, что ты менее чем пятизначен». – Прим. ред.

считает его прекрасным? Он *очеловечил* его – вот и все. Но ничто, решительно ничто не может быть порукой в том, что именно человек служит моделью прекрасного. Кто знает, как выглядит он в глазах высшего судьи вкуса? Быть может, спорно? Быть может, даже забавно? Быть может, немного своеобразно?.. «О, Дионис, божественный, зачем тянешь ты меня за уши?» – спросила раз Ариадна своего философа-любовника во время одного из тех знаменитых диалогов на Наксосе. – «Я нахожу нечто юмористическое в твоих ушах, Ариадна; почему они не еще длиннее?»

20

Ничто не прекрасно, только человек прекрасен: на этой наивности зиждется вся эстетика, она ее *первая* истина. Прибавим к ней сейчас же и вторую: ничто не безобразно, кроме *вырождающегося* человека, – этим очерчены границы эстетического суждения. – Если поверять физиологией, то все безобразие ослабляет и огорчает человека. Оно напоминает ему о гибели, опасности, бессилии; он фактически теряет при этом силу. Действие безобразного можно измерять динамометром. Когда человек вообще подавлен, то он чувствует близость чего-то «безобразного». Его чувство могущества, его воля к власти, его мужество, его гордость – все это умаляется вместе с безобразным и возрастает вместе с прекрасным... Как в том, так и в другом случае *мы делаем одно заключение*: предпосылки к этому в невиданном изобилии содержатся в инстинкте. Безобразное понимается как намек на вырождение и его симптом: что хоть самым отдаленным образом напоминает о вырождении, то вызывает в нас суждение «безобразно». Каждый признак истощения, тяжести, старости, усталости, всякого вида несвобода, как судорога, паралич, прежде всего запах, цвет, форма разложения, тления, хотя бы даже в самом разреженном виде символа, – все это вызывает одинаковую реакцию, все это «безобразно». *Ненависть* рвется здесь наружу – кого ненавидит тут человек? Но в этом нет никакого сомнения: *упадок своего типа*. Он ненавидит тут в силу глубочайшего инстинкта рода; в этой ненависти есть содро-

гание, осторожность, глубина, дальнорочность, – это глубочайшая ненависть, какая только есть. В силу нее и искусство *глубоко*...

21

Шопенгауэр. – Шопенгауэр, последний немец, идущий в счет (ведь он – *европейское* явление подобно Гёте, подобно Гегелю, подобно Генриху Гейне, а *не только* местное, «национальное»), – это случай первого ранга для психолога: а именно, как озлобленно гениальная попытка вывести в бой на стороне общего нигилистического обесценения жизни как раз противоположные инстанции, великие самоутверждения «воли к жизни», формы избытка жизни. Он истолковал как следствия «отрицания воли» или потребности воли в отрицании, одно за другим, *искусство*, героизм, гений, красоту, великое сочувствие, познание, волю к истине, трагедию – то была грандиознейшая психологическая подделка, с какой только встречалась мировая история, если, конечно, не считать христианства. Если взглядеться внимательнее, он является в этом лишь наследником христианской интерпретации: с тою только разницей, что вдобавок смог *одобрить отвергнутые* христианством вещи, великие факты культуры человечества, – все в том же христианском, т.е. нигилистическом, смысле (именно как пути к «спасению», как предформы «спасения», как *stimulantia* потребности в «спасении»...).

22

Рассмотрю один случай. Шопенгауэр говорит о *красоте* с меланхолическим пылом, – отчего бы так? Потому что он видит в ней *мост*, который ведет дальше или возбуждает жажду идти дальше... Она на мгновения освобождает его от «воли» – и манит освободиться от нее навсегда... Особенно ценит он ее, как освободительницу от «средоточия воли», от полового влечения, – в красоте он видит *отрицание* полового инстинкта... Удивительный святой! Кое-кто

противоречит тебе, – боюсь, что природа. *Для чего вообще существует красота звука, цвета, аромата, ритмического движения в природе? Что вызывает красота?* – К счастью, ему противоречит также один философ. Не кто иной, как божественный Платон (так называет его сам Шопенгауэр) поддерживает другое положение: что любая красота побуждает к зачатию, – что это как раз *progrium* ее действия, начиная с самого чувственного и кончая высотами духа...

23

Платон идет дальше. С невинностью, для которой нужно быть греком, а не «христианином», он говорит, что не было бы вовсе никакой платоновской философии, если бы в Афинах не было таких прекрасных юношей: их вид только и погружает душу философа в эротическое опьянение и не дает ей покоя, пока она не бросит семя всего великого в такую прекрасную почву. Тоже удивительный святой! – не веришь своим ушам, даже если предположить, что веришь Платону. По крайней мере понимаешь из этого, что в Афинах философствовали *иначе*, прежде всего публично. Нет ничего менее греческого, чем когда некий отшельник плетет паутину понятий, чем *amor intellectualis dei*¹, на манер Спинозы. Философию в духе Платона скорее можно было бы определить как эротическое состязание, нежели как дальнейшее развитие и одухотворение древней агональной гимнастики и ее *предпосылок*... Что выросло в итоге из этой философской эротики Платона? Новая художественная форма греческого агон, диалектика. – Напомню еще, *в пику* Шопенгауэру и к чести Платона, что и вся высочайшая культура и литература *классической* Франции выросла на почве полового интереса. Там всюду можно искать галантность, чувства, состязание полов, «женщину», – эти поиски всякий раз увенчаются успехом...

¹ интеллектуальная любовь к Богу (*лат.*).

L'art pour l'art. – Борьба с целью в искусстве является всегда борьбой с *морализирующей* тенденцией в искусстве, с подчинением его морали. *L'art pour l'art* означает: «пусть мораль катится к черту!» – Но и эта вражда еще указывает на засилье предрассудка. Если мы исключим из искусства цель моральной проповеди и улучшения человека, то из этого далеко еще не следует, что искусство бесполезно, бессмысленно, словом, что оно *l'art pour l'art* – червь, кусающий собственный хвост. «Лучше совсем никакой цели, чем моральная цель!» – так говорит голая страсть. Психолог, напротив, спрашивает: что делает всякое искусство? Не восхваляет ли оно? Не возвеличивает ли? Не выбирает ли? Не выделяет ли? Всем этим оно *усиливает* или *ослабляет* те или иные ценностные суждения... Есть ли это только побочное действие? Случайность? Нечто такое, в чем инстинкт художника не принимает совершенно никакого участия? Или наоборот: не предпосылка ли это того, на что *способен* художник...? Направлен ли самый глубинный его инстинкт на искусство или же, скорее, на смысл искусства, на *жизнь?* на *желанность жизни?* – Искусство есть великий стимул к жизни – как можно считать его бесцельным, *l'art pour l'art?* – Остается один вопрос: ведь искусство изображает также много безобразного, сурового, проблематичного в жизни, – не стремится ли оно этим отбить охоту к жизни? – И в самом деле, были философы, придававшие ему такой смысл: Шопенгауэр учил, что «освобождение от воли» есть общая цель искусства, он видел великую пользу трагедии в том, что она «склоняет к резиньяции». – Но это, о чем я уже говорил, есть оптика пессимиста и «дурной глаз»: надо апеллировать к самим художникам. *Что сообщает о себе трагический художник?* Не демонстрирует ли он именно состояние бесстрашия перед страшным и сомнительным? – Само это состояние является в высшей степени желанным; кто знает его, тот знает ему цену и чтит его. Он сообщает это состояние другим, он *должен* его сообщать, при условии, что он художник, гений общности. Мужество и свобода чувства перед лицом мощного врага, великого бедствия, проблемы, вызывающей ужас, – вот то *победнос-*

ное состояние, которое избирает трагический художник, которое он прославляет. Перед лицом трагедии воинственное в нашей душе празднует свои сатурналии; кто привык к страданию, кто ищет страдания, *героический* человек платит трагедией за свое существование, – ему одному дает трагический поэт отведать напитка этой сладчайшей жестокости.

25

Быть невзыскательным к людям, держать открытым свое сердце – это либерально, это всего лишь либерально. Сердца, способные на *аристократическое* гостеприимство, узнаются по многим завешенным окнам и закрытым ставням: свои лучшие помещения они держат пустыми. Почему же? – Потому что они ждут гостей, к которым *не* бывают «невзыскательны» ...

26

Если мы рассказываем о себе, значит мы не достаточно ценим себя. Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не могли бы рассказать о себе, если бы захотели. Это оттого, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею говорящий сразу *вульгаризируется*. (Из морали для глухонемых и других философов).

27

«Какой чарующий портрет!»... Литературная дама, неудовлетворенная, возбужденная, бесплодная сердцем и чревом, постоянно прислушивающаяся с мучительным любопытством к императиву, шепчущему из глубин ее организма

«aut liberi aut libri!»; литературная дама, достаточно образованная, чтобы понимать голос природы, даже когда она говорит по-латыни, а с другой стороны, тщеславная и в достаточной степени гусыня, чтобы втайне все еще говорить с собою по-французски: «je me verrai, je me lirai, je m'extasierai et je dirai: Possible, que j'aie eu tant d'esprit?»...

28

Слово предоставляется «безличным». – «Для нас нет ничего легче, чем быть мудрыми, терпеливыми, смотреть свысока. Мы насквозь пропитались маслом снисхождения и сочувствия, мы абсурдно справедливы, мы прощаем всё. Именно поэтому нам следовало бы держать себя несколько строже; именно поэтому нам следовало бы время от времени *вращивать* в себе маленький аффект, маленький порок аффекта. Нам это будет нелегко; между собой мы, быть может, посмеемся над зрелищем, которое при этом являем. Но что же делать! У нас не осталось никакого другого способа самопреодоления – это *наш* аскетизм, *наше* покаяние»... *Сделаться индивидуальным* – добродетель «безличного»...

29

Диалог с защиты докторской диссертации. – «В чем задача всякой высшей школы?» – Сделать из человека машину. – «Какими средствами?» – Он должен научиться скучать. – «Как этого добиться?» – С помощью понятия долга. – «Кто для него образец в этом отношении?» – Филолог: он учит *зубрить*. – «Кто является совершенным человеком?» – Государственный чиновник. – «Какая философия дает высшую формулу для государственного чиновника?» – Философия Канта: государственный чиновник как вещь в себе, постав-

1 либо дети, либо книги (*лат.*).

2 я себя увижу, я себя прочту, я приду в восторг и скажу себе: ну разве я не кладезь остроумия? (*фр.*). См. комментарий.

ленный судьей над государственным чиновником как явлением. –

30

Право на глупость. – Утомленный и медленно переводящий дыхание работник, с добродушным взглядом, предоставляющий всему идти своим чередом: эта типичная фигура, которую ныне, в эпоху труда (*а также* «империи»!) можно встретить во всех слоях общества, заявляет теперь свои притязания на *искусство*, включая книги, прежде всего журналы, а еще, в гораздо большей мере – на прекрасную природу, Италию... Вечерний человек с «уснувшими дикими порывами», о которых говорит Фауст, нуждается в летней прохладе, в морских купаниях, в глетчерах, в Байройте... В такие эпохи искусство имеет право на *чистую глупость*, – как на своего рода каникулы ума, остроумия и эмоций. Это понял Вагнер. *Чистая глупость*¹ восстанавливает организм...

31

Еще одна проблема диеты. – Меры, которыми Юлий Цезарь защищался от хворости и головной боли: изнурительные марши, самый простой образ жизни, непрерывное пребывание на свежем воздухе, постоянные нагрузки – это, вообще говоря, меры, чтобы поддержать и защитить от крайней ломкости ту тонкую и работающую под высочайшим давлением машину, которая называется гением.

32

Речь имморалиста. – Ничто так не претит вкусу философа, как человек *желающий*... Если он видит человека только за

¹ Намек на вагнеровского Парсифаля. *Thorheit* имеет еще и другое значение: «простоватость». См. прим. к *ЕН, Почему я так мудр*, 8. – *Прим. ред.*

его делом, видит этого храбрейшего, хитрейшего, выносливейшего зверя пусть даже заблудившимся в лабиринте бедствий, то каким достойным изумления кажется ему человек! Он еще поощряет его... Но желающего человека, а также человека «желаемого» – и вообще все желанности, все *идеалы* человека – философ презирает. Будь философ нигилистом, то он был бы им потому, что за всеми идеалами человека он находит Ничто. Или даже не Ничто, – а нечто недостойное, абсурдное, болезненное, трусливое, усталое, всякого вида подонки из *выпитого* кубка его жизни... Отчего так происходит, что человек, достойный всяческого почтения как реальность, не заслуживает никакого уважения своими желаниями? Должен ли он расплачиваться таким образом за то, что он столь ценен в качестве реальности? Должен ли он уравнивать свою деятельность, напряжение ума и воли во всякой деятельности тем, что расплывается в воображаемом и абсурдном? – История того, что для него желанно, была до сих пор *partie honteuse* человечества: стоит остеречься читать ее слишком долго. Что оправдывает человека, так это его реальность, – она будет оправдывать его вечно. Во сколько раз ценнее действительный человек по сравнению с каким-нибудь всего лишь желанным, выдуманным, высосанным из пальца, присочиненным человеком! с каким-нибудь *идеальным* человеком!.. Лишь идеальный человек не по вкусу философу.

33

Естественная ценность эгоизма. – Себялюбие ценно настолько же, насколько физиологически ценен его носитель: оно может быть чрезвычайно ценным, оно может быть ничемным и презренным. На каждого можно смотреть с той точки зрения, представляет ли он восходящую или нисходящую ветвь жизни. Ответ на этот вопрос дает и мерило того, чего стоит его себялюбие. Если он представляет восходящую ветвь, то ценность его на самом деле огромна, – и ради всей жизни, которая делает в лице его шаг *вперед*, забота о его сохранении, о создании *optimum* условий для него вправе достигать крайних степеней. Отдельный человек,

«индивидуум», как его до сих пор понимали толпа и философ, – это заблуждение: он не есть что-либо самостоятельное, не атом, не «звено цепи», не что-либо унаследованное от прошлого, – он *одна* цельная ветвь «человека» вплоть до него самого... Если он представляет собою нисходящее развитие, упадок, хроническое вырождение, болезнь (болезни, вообще-то говоря, уже являются следствиями упадка, а не его причинами), то ценность его мала, и простая справедливость требует, чтобы он как можно меньше *отнимал* у удавшихся людей. Он же просто их паразит...

34

Христианин и анархист. – Если анархист, как глашатай *опускающихся* слоев общества, требует с красивым негодованием «права», «справедливости», «равных прав», то он находится при этом лишь под давлением своей некультурности, которая не может постичь, *почему* он собственно страдает, *чем* он беден, – а беден он жизнью... В нем сильна потребность в причине: кто-нибудь должен быть виновен в том, что ему плохо... Да и само «красивое негодование» уже действует на него благотворно; браниться – это удовольствие для всех бедняков, – это дает маленькое опьянение властью. Уже жалоба, сетование может сообщить жизни привлекательность, ради которой ее выносят: маленькая доза *мести* есть в каждой жалобе; за свое скверное положение, а иногда даже за свою дрянность упрекают тех, у кого дело обстоит иначе, – как за несправедливость, как за *недозволенное* преимущество. «Если я *sanaille*, то и ты, должно быть, тоже»: на основании этой логики делают революцию. – Сетование во всяком случае ничего не стоит: оно проистекает из слабости. Возлагают ли ответственность за свое незавидное положение на других или на *самих себя* – первое делает социалист, второе, к примеру, христианин, – в этом, собственно, нет никакой разницы. Общее, скажем также, *недостойное* в этом то, что некто должен быть *виновным* в том, что страдаешь, – словом, что страдающий прописывает себе как средство от своего страдания мёд мести. Объектами этой потребности в мести, как потребности в *удовольствии*, являют-

ся случайные причины: страдающий всюду находит причины вымещать свою маленькую мстительность, – если он христианин, то, повторяю, он находит их в *себе*... Христианин и анархист – оба суть *décadents*. – Но когда христианин осуждает «мир», клеветает на него, чернит его, то он делает это в силу того же инстинкта, в силу которого рабочий-социалист осуждает *общество*, клеветает на него, чернит его: сам «страшный суд» есть сладчайшее утешение мести – революция, какой ожидает и рабочий-социалист, только несколько более отдаленная... Да и «тот мир» – для чего тот мир, если бы он не был средством чернить этот?..

35

Критика морали décadence. – «Альтруистическая» мораль, мораль, при которой *чахнет* себялюбие, – остается в любых обстоятельствах дурным признаком. Это относится к индивидууму, это же относится и к народам. Когда начинает не хватать себялюбия, то, значит, не хватает самого лучшего. Инстинктивно выбирать вредное *себе*, *префльцаться* «бескорыстными» побуждениями – это почти формула для *décadence*. «Не искать *своей* пользы» – это просто моральный фиговый лист для совсем другой, а именно – физиологической действительности: «я больше не умею *найти* своей пользы»... Ослабление инстинктов! – С человеком покончено, если он становится альтруистом. – Вместо того, чтобы наивно сказать: «я больше ничего не стою», моральная ложь в устах *décadent* говорит: «нет ничего ценного, – *жизнь* ничего не стоит»... Такое суждение в конце концов грозит большой опасностью, оно действует заразительно, – на гнилой почве общества оно разрастается вскоре в тропическую растительность понятий, то в виде религии (христианство), то в виде философии (шопенгауэрианство). Иногда такой выросший из гнили ядовитый куст отравляет своим дыханием *саму жизнь* на тысячелетия вперед...

Мораль для врачей. – Больной – паразит общества. В известных случаях неприлично продолжать жить. Дальнейшее прозябание в трусливой зависимости от врачей и искусственных мер, после того как потерян смысл жизни, *право* на жизнь, должно бы вызывать глубокое презрение общества. Врачам же следовало бы быть посредниками в этом презрении, – выписывать не рецепты, а каждый день новую дозу *отвращения* своему пациенту... Создать новую ответственность, ответственность врача, для всех случаев, где высший интерес жизни, *восходящей* жизни, требует беспощадного подавления и устранения *вырождающейся* жизни – например, для права на зачатие, для права быть рожденным, для права жить... Гордо умереть, если уже больше нет возможности гордо жить. Смерть, выбранная добровольно, смерть вовремя, светлая и радостная, принимаемая среди детей и свидетелей: так что еще возможно настоящее прощение, когда *тот*, кто прощается, *еще здесь, с нами*, а равным образом действительная оценка достигнутого и того, чего желал, *подведение итога* жизни – все это в противовес той жалкой и ужасающей комедии, которую делало из смертного часа христианство. Никогда не следует забывать христианству того, что оно злоупотребляло слабостью умирающего для насильования совести, а обстоятельствами самой смерти – для оценки человека и его прошлого! – Здесь следует, наперекор всем трусостям предрассудка, прежде всего восстановить правильную, т.е. физиологическую оценку так называемой *естественной* смерти, – которая в конечном счете также является всего лишь «неестественной», самоубийством. Челобек погибает не от чего иного, как от самого себя. Только это – смерть, наступающая в презреннейших условиях, несвободная смерть, *несвоевременная* смерть, смерть труса. Из любви к *жизни* следовало бы желать иной смерти, – свободной, сознательной, без случайности, без неожиданности... Наконец, дам совет господам пессимистам и другим *décadents*. Не в наших силах воспрепятствовать нашему рождению: но эту ошибку – ибо порою это ошибка – мы можем исправить. *Устраняя* себя, делаешь достойное величайшего уважения дело: этим почти заслуживаешь право

жить... Общество, что я говорю! сама *жизнь* получает от этого большую выгоду, чем от какой-нибудь «жизни» в отречении, бледной немочи и прочих добродетелях, – освобождаешь других от того, чтобы тебя лицезить, освобождаешь жизнь от лишнего *довода* против нее... Пессимизм, *rig, vert, доказывається только* самоопровержением господ пессимистов: надо сделать еще один шаг в его логике, отрицать жизнь не только «волей и представлением», как это делал Шопенгауэр, – надо *прежде всего отрицать Шопенгауэра...* Пессимизм, кстати сказать, как он ни заразителен, тем не менее в целом не усиливает болезненность эпохи, поколения, – он просто является ее выражением. Им заболевают, как заболевают холерой: для этого уже надо быть достаточно хилым. Сам пессимизм не производит на свет ни одного нового *décadent*; напомним статистический вывод, что годы, в которые свирепствует холера, не отличаются общим числом смертных случаев от других лет.

37

Стали ли мы нравственнее. – Против моего понятия «по ту сторону добра и зла», как и следовало ожидать, ополчилась вся *ярость* морального оглушения, которая, как известно, слышет в Германии за саму мораль: я мог бы рассказать об этом премилые истории. Прежде всего мне предложили подумать о «неопровержимом превосходстве» нашего времени в нравственном суждении, о действительно достигнутом нами в этой области *прогрессе*: в сравнении с нами *вовсе-де* нельзя считать какого-нибудь Цезаре Борджа «высшим человеком», чем-то вроде *сверхчеловека*, как делаю это я... Один швейцарский редактор, из газеты «Bund», зашел так далеко, что, отдавая дань мужеству на такое дерзновение, «понимает» смысл моего сочинения в том, что я предлагаю в нем упразднить все благопристойные чувства. Благодарю покорно! – Позволю себе в качестве ответа поставить вопрос, *действительно ли мы стали нравственнее?* Что этому верит весь мир, есть уже возражение... Мы, современные люди, очень нежные, очень ранимые и сотни раз уступающие и принимающие уступки, в самом деле воображаем, что эта нежная

человечность, которую мы собою являем, это *достигнутое* единодушие в милосердии, в готовности помочь, во взаимном доверии есть позитивный прогресс, что в этом отношении мы далеко опередили Ренессанс. Но так думает каждая эпоха, так *должна* она думать. Несомненно то, что мы не можем поставить себя в ренессансные обстоятельства, даже не можем помыслить себя в них: этой действительности не выдержали бы наши нервы, не говоря уж о наших мускулах. Но этой неспособностью доказывается не прогресс, а лишь присутствие в нас свойств другой, позднейшей формации, – более слабой, нежной, уязвимой, – из которых неизбежно рождается *полная уступок и оглядок* мораль. Если мы мысленно устраним нашу изнеженность и запоздалость, наше физиологическое одряхление, то и наша мораль «очеловечения» потеряет тотчас же свою ценность (сама по себе никакая мораль ценности не имеет), она обесценит нас самих. С другой стороны, не будем сомневаться в том, что мы, современные люди, плотно укутанные в нашу гуманность, как в вату, ибо ни за что не желаем ушибиться о камни, показались бы современникам Чезаре Борджа уморительной комедией. В самом деле, мы попросту смехотворны, смехотворны поневоле, с нашими современными «добродетелями»... Ослабление инстинктов вражды и недоверия – а ведь в этом и состоит наш «прогресс» – представляет собою лишь одно из следствий общего ослабления *витальности*: требуется во сто раз больше труда, больше осторожности, чтобы поддерживать столь нагруженное условиями, столь позднее существование. Тут все взаимно помогают друг другу, тут каждый до известной степени больной и в то же время санитар. Это называется «добродетелью» – люди, знаящие другую жизнь, более полную, расточительную, бьющую через край, назвали бы это иначе, быть может, «трусостью», «ничтожеством», «старушечьей моралью»... Наше смягчение нравов (это мой постулат и, если угодно, мое *нововведение*) есть следствие упадка; суровость и ужасность нравов может, наоборот, быть следствием избытка жизни. Ведь только при избытке жизни могут на многое отваживаться, многого требовать, а также много *расточать*. Что некогда было приправой жизни, оказалось бы для нас *ядом*... Для того, чтобы быть индифферентными – а это тоже извест-

ная форма силы – мы также слишком стары, пришли слишком поздно: наша мораль сочувствия, от которой я первый предостерегал и которую можно было бы назвать l'impresionisme morale, есть лишь еще одно выражение чрезмерной физиологической раздражимости, свойственной всему декадентскому. То движение, которое с помощью шопенгауэровской *морали сострадания* пыталось стать на научную почву, – весьма неудачная попытка! – есть подлинное движение *décadence* в морали и, будучи таковым, глубоко родственно морали христианской. Сильные эпохи, *аристократические культуры* видят в сострадании, в «любви к ближнему», в недостатке самости и чувства собственного достоинства нечто презренное. – О временах следует судить по их *позитивным силам* – и при этом выходит, что столь расточительная и роковая эпоха Ренессанса была последней *великой* эпохой, а мы, современные люди, с нашей боязливой заботой о себе и любовью к ближнему, с нашими добродетелями труда, непритязательности, законности, научности – накапливающие, экономные, подобные машинам – воплощаем *слабую* эпоху... Наши добродетели обусловлены, они *вызваны* нашей слабостью... «Равенство», известное фактическое уподобление, которое проявляется только лишь в теории о «равных правах», по сути – примета упадка: пропасть между человеком и человеком, сословием и сословием, многообразие типов, воля быть собой, выделяться среди других, – то, что я называю *пафосом дистанции*, свойственно каждой *мощной* эпохе. Сила напряжения, расстояние между полюсами, крайностями ныне все уменьшается, – сами крайности в конечном счете сглаживаются до полной тождественности... Все наши политические теории и государственные устройства, отнюдь не исключая «Германского рейха», суть следствия, неизбежные следствия упадка; несознаваемое влияние *décadence* проникло вплоть до самых идеалов отдельных наук. Моим возражением против всей социологии в Англии и во Франции остается то, что она знает из опыта только *упадочные формации* общества и совершенно наивно принимает собственные упадочные инстинкты за *норму* социологической оценки. *Нисходящая* жизнь, ослабление всякой организующей, т.е. разделяющей, вырывающей пропасти, подчиняющей одно другому силы возведено в нынеш-

ней социологии в *идеал*... Наши социалисты суть *décadents*, но и господин Герберт Спенсер тоже *décadent* – он видит нечто желательное в победе альтруизма!..

38

Мое понятие свободы. – Ценность вещи заключается иногда не в том, что с помощью ее достигают, а в том, что за нее заплатили, – чего она нам *стоит*. Приведу пример. Либеральные институты тотчас же перестают быть либеральными, как только они созданы: после этого нет худших и более радикальных врагов свободы, чем либеральные институты. Ведь известно, *к чему* они приводят: они подводят мины под волю к власти, они служат возведенной в ранг морали нивелировкой гор и долин, они делают людей мелкими, трусливыми и похотливыми, – они являют всякий раз триумф стадного животного. Либерализм: в переводе – обращение *в стадных животных*... И те же самые институты, пока за них еще борются, оказывают совсем другое действие; тогда они действительно мощно споспешествуют свободе. Говоря точнее, это действие производит война, война *за* либеральные институты, которая, как всякая война, поддерживает существование *нелиберальных* инстинктов. И война воспитывает к свободе. Ибо что такое свобода, как не воля к ответственности за самого себя; как не сохранение дистанции, которая нас разделяет; как не равнодушие к тяготам, суровым лишениям, даже к жизни; как не готовность жертвовать за свое дело людьми, не исключая и самого себя? Свобода означает, что мужественные, воинственные и победоносные инстинкты господствуют над другими инстинктами, например над инстинктом «счастья». *Освободившийся* человек, тем более *освободившийся ум*, попирает ногами все то презренное благоденствие, о котором мечтают мелочные лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы. Свободный человек – *воин*. – Чем измеряется свобода, как у индивидов, так и у народов? Сопротивлением, которое надо преодолеть, трудом, затраченным на то, чтобы оставаться *наверху*. Высший тип свободных людей следовало бы искать там, где посто-

янно преодолевается высшее сопротивление: в пяти шагах от тирании, у самого порога опасности рабства. Это верно психологически, если понимать здесь под «тираном» непреклонные и страшные инстинкты, требующие по отношению к себе максимума авторитета и дисциплины, – ярчайший тип этого Юлий Цезарь; это верно также и в политическом отношении, стоит лишь проследить ход истории. Народы, имевшие какую-либо ценность, *ставшие* ценными, никогда не делались таковыми под влиянием либеральных институтов: *великая опасность* делала из них нечто заслуживающее уважения, – опасность, которая впервые знакомит нас с нашими средствами помощи, нашими добродетелями, с нашим оружием, с нашим *духом*, которая *принуждает* нас быть сильными... *Первый* принцип: надо, чтобы тебе пришлось быть сильным – иначе никогда им не будешь. – Те огромные теплицы для сильной, для сильнейшей породы людей, какая когда-либо существовала, аристократические общины, подобные Риму и Венеции, понимали свободу как раз в том смысле, в каком понимаю ее я: как нечто, что имеешь и чего *не* имеешь, чего *хочешь*, что *завоевываешь*...

39

Критика современности. – Наши институты уже ни на что не годятся – в этом все единодушны. Но виной тому не они, а *мы*. После того как мы лишились всех инстинктов, из которых вырастают институты, мы лишились и всех институтов, поскольку *мы* уже негодны для них. Демократизм во все времена был упадочной формой организующей силы: уже в «Человеческом, слишком человеческом» (I, 318) я охарактеризовал современную демократию со всеми ее половинчатостями, вроде «Германского рейха», как *упадочную форму государства*. Чтобы существовали институты, должна присутствовать известная воля, инстинкт, императив, антилиберальный до ярости: воля к традиции, к авторитету, к ответственности на столетия вперед, к *солидарности* прошлых и будущих поколений *in infinitum*. Если эта воля налицо, то основывается нечто подобное *imperium Romanum*; или подобное России, *единственной* державе, у которой сегодня

есть будущность, которая может ждать, которая еще может что-то обещать, – России, антониму жалкого европейского партикуляризма и нервозности, вступившей вместе с основанием Германского рейха в критическую стадию... У целого Запада нет больше тех инстинктов, из которых вырастают институты, из которых вырастает *будущее*: его «современному духу» быть может, ничто не приходится в такой степени не по нутру. Живут для сегодняшнего дня, живут слишком быстро, – живут слишком безответственно: именно это называют «свободой». То, что *делает* институты институтами, презираемо, ненавидимо, всего этого избегают; воображают опасность нового рабства там, где лишь раздается слово «авторитет». Так далеко заходит *décadence* в ценностных инстинктах наших политиков, наших политических партий: *они инстинктивно предпочитают* то, что разлагает, что ускоряет конец... Свидетельством этому служит *современный брак*. Из современного брака, очевидно, улетучился всякий разум – но это служит доводом не против брака, а против современности. Разумность брака заключалась в юридической, исключительно на муже лежащей ответственности: это давало браку устойчивость, тогда как нынче он хромает на обе ноги. Разумность брака заключалась в его принципиальной нерасторжимости: это придавало ему такой тон, который, наперекор случайному чувству, страсти и мгновению, умел *заставлять прислушиваться к себе*. Она заключалась равным образом в ответственности семей за выбор супругов. Возрастающей снисходительностью к бракам *по любви* устраняется именно основа брака, то, что только и *делает* из него институт. Институт никогда не основывают на идиосинкразии, брак, как сказано, *не основывают* на «любви», – его основывают на половом инстинкте, на инстинкте собственности (жена и ребенок как собственность), на *инстинкте господства*, который постоянно организует себе самую маленькую ячейку господства, семью, которому *нужны* дети и наследники, чтобы удержать также и физиологически достигнутую меру власти, влияния, богатства, чтобы надолго готовить задачи будущему, инстинктивную солидарность столетий друг с другом. Брак как институт уже включает в себя утверждение величайшей, прочнейшей организационной формы: если общество само уже не может *посто-*

ять за себя, как целое, в самых отдаленных будущих поколениях, то брак вообще не имеет смысла. – Современный брак *потерял* свой смысл, – следовательно, его упразднят.

40

Рабочий вопрос. – Глупость, в сущности вырождение инстинкта, являющееся нынче причиной *всех* глупостей, заключается в том, что существует рабочий вопрос. Об известных вещах *не спрашивают*: первый императив инстинкта. – Я совершенно не понимаю, что хотят сделать из европейского рабочего, после того как из него сперва сделали вопрос. Он чувствует себя слишком хорошо, и потому запрашивает все больше и больше, все с большей нескромностью. В конце концов на его стороне огромное большинство. Надежды, что тут складывается в сословие скромная и довольствующая собою порода человека, тип китайца, рассеялись без следа: а ведь это было бы разумно, это было бы почти что необходимо. Что же сделали вместо этого? – Все, чтобы уничтожить в зародыше даже предпосылки к этому, – инстинкты, в силу которых рабочий возможен как сословие, возможен *с его собственной точки зрения*, разрушили до основания самой непростительной бездумностью. Рабочего сделали воинственным, ему дали право на союзы, политическое право голоса: что же удивительного, если рабочий ощущает нынче свое существование уже как бедственное (выражаясь морально, как *несправедливость*)? *Но чего* хотят? спрашиваю еще раз. Если хотят цели, то должны хотеть и средств: если хотят рабов, то надо быть дураками, чтобы воспитывать их для господства.

41

«Свобода, которой я *не* разумею...» – В такие времена, как нынешние, оказаться предоставленным своим инстинктам – это только лишняя напасть. Эти инстинкты противоречат, мешают друг другу, разрушают друг друга; я уже определил *современность* как физиологическое самопротиворечие.

Разумность воспитания требовала бы, чтобы под железным гнетом была *парализована* по крайней мере одна из этих систем инстинктов, дабы позволить другой системе набираться сил, сделаться сильной, достигнуть господства. Нынче лишь *урезая* индивидуум, сделаешь его возможным: возможным, т.е. *цельным*... Происходит обратное: притязание на независимость, на свободное развитие, на *laisser aller* изъясняется с наибольшей горячностью теми, для кого никакая узда *не была бы слишком строгой* – это имеет место *in politicis*, это относится и к искусству. Но это симптом *décadence*: наше современное понятие «свобода» – еще одно доказательство вырождения инстинкта.

42

Где нужна вера. – Среди моралистов и святых ничто не встречается столь редко, как честность; сами они, может быть, говорят обратное и даже *верят* обратному. Когда вера оказывается полезнее, эффективнее, убедительнее, чем *сознательное* лицемерие, то лицемерие инстинктивно превращается тотчас же в *невинность*: первое правило для понимания великих святых. То же и у философов, у другого вида святых, вся суть их ремесла в том, что они допускают лишь известные истины, – а именно такие, на которые их ремесло имеет *общественную* санкцию, – говоря по-кантовски, истины *практического разума*. Они знают, что они *должны* доказывать, в этом они практичны, – они узнают друг друга по тому, что они сходятся во взглядах на «истины». – «Ты не должен лгать» – по-немецки: *остерегайтесь*, господин философ, говорить правду...

43

На ухо консерваторам. – Чего раньше не знали, и что знают, могли бы знать теперь, – *развитие в обратную сторону*, возврат в каком бы то ни было смысле и степени совершенно невозможен. По крайней мере мы, физиологи, знаем это. Но все жрецы и моралисты верили в нечто подобное, – они

хотели вернуть, ввернуть человечество в *прежнюю* меру добродетели. Мораль всегда была прокрустовым ложем. Даже политики подражали в этом проповедникам добродетели; еще и нынче есть партии, мечтающие как о цели, чтобы все вещи стали *пялиться* раком. Но никто не волен быть раком. Ничего не поделаешь: *надо* идти вперед, хочу сказать, *шаг за шагом дальше в décadence* (вот *мое* определение современного «прогресса»)... Можно *притормозить* это развитие и тем самым запрудить самое вырождение, накопить его, сделать более бурным и *внезапным* – больше сделать нельзя ничего.

44

Мое понятие гения. – Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила; их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накапливалось, сберегалось и сохранялось, – что подолгу не происходило никаких взрывов. Если напряжение в массах становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни «гения», «деяние», великую судьбу. Какое тогда дело до окружения, эпохи, «духа времени», «общественного мнения»! – Возьмем в пример Наполеона. Франция времен революции, и тем более дореволюционная Франция, породила бы тип, противоположный Наполеону; да она и *породила* его. И как раз поскольку Наполеон был человеком *инного* закала, наследником более сильной, продолжительной, старой цивилизации, чем та, что разлетелась во Франции вдребезги, то он и стал здесь властелином, он один *был* здесь властелином. Великие люди необходимы, время же их появления случайно; и причина того, что они почти всегда делаются господами над ним, кроется только в том, что они сильнее, старше, что история долго накапливала их. Между гением и его временем такое же отношение, как между сильным и слабым, а также как между старым и молодым: причем время в этом соотношении всегда гораздо моложе, слабее, незрелее, неуверенней, ребячливей. – Что нынче на этот счет во Фран-

ции думают *совершенно иначе* (в Германии тоже, но это неважно), что теория среды, – вот уж настоящая теория невротиков, – стала там священной и почти научной, так что в нее начинают верить даже среди физиологов, – от этого «неважно пахнет», это наводит на печальные размышления. – В Англии это тоже понимают подобным образом, но на сей счет никто не станет печалиться. У англичанина есть только два способа разобраться с гением и «великим человеком»: либо *демократически* на манер Бокля, либо *религиозно* на манер Карлейля. – В великих людях и временах заложена чрезвычайная *опасность*; всевозможное истощение, бесплодие следуют за ними по пятам. Великий человек – это конец; великое время, Ренессанс например, – это конец. Гений неизбежно оказывается расточителем – в творчестве, в поступках: его величие в том, *что он расходует себя...* Инстинкт самосохранения словно отброшен; сокрушительный натиск рвущихся наружу сил воспрещает ему всякую такую заботу и осторожность. Это называют «самопожертвованием»; восхваляют в этом его «героизм», его равнодушие к собственному благу, его преданность идее, великому делу, отечеству – а ведь всё это сплошь недоразумения... Он изливается, он льется через край, он расходует себя, он не щадит себя, – с фатальностью, роковым образом, невольно, как невольно выступает река из своих берегов. Но поскольку таким взрывчатым натурам человечество многим обязано, то за это оно их также и одаряет многим, например: *какой высшей моралью...* Такова людская благодарность: она *неверно истолковывает* своих благодетелей.

Преступник и то, что ему сродни. – Тип преступника – это тип сильного человека в неблагоприятных условиях, это сильный человек, которого сделали больным. Ему недостает джунглей, более свободной и опасной природы и формы бытия, в которой всё, являющееся оружием и защитой в инстинкте сильного человека, *существует по праву*. Его *добродетели* преследуются обществом; его живейшие инстинкты, которые он приносит с собою, срastaются тотчас же с угне-

тающими аффектами, с подозрением, страхом, бесчестьем. Но это уже почти *рецепт* физиологического вырождения. Тот, кто принужден делать втайне, с постоянным напряжением, осторожностью, хитростью делать то, что он лучше всего может и больше всего любит, становится анемичным; и так как он постоянно пожинает от своих инстинктов лишь опасность, преследование, роковые последствия, то изменяется и его чувство по отношению к этим инстинктам – он чувствует их фатальными. Таково наше общество, наше прирученное, посредственное, оскопленное общество, что в нем сын природы, пришедший к нам с гор или из морских авантюр, неизбежно вырождается в преступника. Неизбежно или почти неизбежно: ибо бывают случаи, когда такой человек оказывается сильнее общества, самый знаменитый тому пример – корсиканец Наполеон. Для проблемы, являющейся перед нами здесь, важно свидетельство Достоевского – единственного, кстати говоря, психолога, у которого я смог кое-чему научиться: он относится к числу самых счастливых случаев моей жизни, даже еще более, чем открытие Стендаля. Этот *глубокий* человек, который был десять раз вправе презирать поверхностных немцев, увидел в сибирских каторжниках, в среде которых он долго жил, (а это были сплошь тяжкие преступники, для которых уже не было возврата в общество) совсем иное, чем сам ожидал, – людей словно выточенных из самого лучшего, твердого и ценного дерева, какое только растет на русской земле. Обобщим случай преступника: представим себе натуры, которые по какой-либо причине лишены общественного сочувствия, которые знают, что не будут признаны благодетельными, полезными, – чувство чандалы, что считаешься не равным, а отверженным, недостойным, марающим. Мысли и поступки таких натур имеют окраску чего-то подпольного; у них все становится бледнее, чем у тех, кто живет при свете дня. Однако почти все формы существования, ныне почитаемые нами выдающимися, дышали некогда этим наполовину могильным воздухом: человек науки, артист, гений, вольнодумец, актер, купец, первооткрыватель... Любой ценный вид человека оставался обесценен, покада высшим типом считался *жрец*... Придет пора – даю слово, – когда он будет считаться *низшим, нашим* чандалой, самой

лживой, самым непристойной разновидностью человека... Обращаю внимание на то, как даже сейчас, в условиях самого мягкого господства обычаев, какое когда-либо имело место на земле, по крайней мере в Европе, всякая нелюдимая особость, всякая долгая, затянувшаяся *подспудность* существования или же непривычная, непрозрачная его форма приближает к тому типу, который обретает завершенность в преступнике. Все новаторы духа поначалу отмечены бледным, фатальным клеймом чандалы: *не* потому, что на них так смотрят, а потому, что они сами чувствуют страшную пропасть, отделяющую их от всего обычного и находящегося в чести. Почти каждому гению знакомо, как одна из стадий его развития, «существование Катилины», – чувство ненависти, мести и бунта против всего, что уже *есть*, что больше не *становится*... Катилина – форма предсуществования *всякого* Цезаря.

46

Здесь вид свободный вдаль. – Когда философ молчит, это может быть величием души; когда он противоречит себе, это может быть любовью; возможна вежливость познающего, которая лжет. Не без тонкости сказано: *il est indigne des grands coeurs de repandre le trouble qu'ils ressentent*¹: нужно только прибавить к этому, что величием души может быть также отсутствие страха *перед самым постыдным*. Женщина, которая любит, жертвует своей честью; познающий, который «любит», жертвует, быть может, своей человечностью; Бог, который любил, стал жидом...

47

Красота – не случайность. – Красота расы или семьи, их изящество и мягкость во всех жестах тоже вырабатываются: они, подобно гению, есть конечный результат накопленной

¹ недостойно великих сердец – обнаруживать испытываемое ими беспокойство (*фр.*). – Пер. К. Свасьяна.

работы поколений. Надо, чтобы были принесены большие жертвы хорошему вкусу, надо, чтобы ради него многое делали, а также от многого отказывались – семнадцатый век во Франции достоин удивления и в том и в другом, – в нем следует видеть принцип выбора общества, места, одежды, полового удовлетворения; красоту следует предпочитать выгоде, привычке, мнению, косности. Высшее правило: нельзя «распускаться» даже перед самим собою. – Все хорошее чрезвычайно дорого обходится; закон на все времена: *обладающий и приобретающий* – совершенно разные существа. Все хорошее есть наследство: что не унаследовано, то несовершенно, всего лишь начинание... В Афинах во времена Цицерона, который и высказывает по этому поводу свое удивление, мужчины и юноши значительно превосходили женщин в красоте: но какой работы и напряжения в служении красоте требовал там от себя мужской пол в течение столетий! – Тут надо именно не промахнуться насчет методики: голая дисциплина чувств и мыслей дает почти что ноль (в этом заключается великое недоразумение немецкого образования, которое представляет из себя одну иллюзию) – сперва надо убедить *тело*. Строгое соблюдение значительных и избранных жестов, обязанность жить лишь с такими людьми, которые не «распускаются», совершенно достаточны для того, чтобы самому стать значительным и избранным: через два-три поколения все это уже *усваивается на ментальном уровне*. Для жребия народа и человечества решающее значение имеет исходная точка их культуры: она должна начинаться *не с души* (что составляло роковое суеверие жрецов и полужрецов), а с тела, жестов, диеты, физиологии, – *остальное* вытекает отсюда... Поэтому греки остались *первым культурным событием* в истории – они знали, они *делали* то, что нужно; христианство, презиравшее тело, было до сих пор величайшим несчастьем человечества.

Прогресс в моем смысле. – Я тоже говорю о «возвращении к природе», хотя это собственно не движение вспять, а *восхождение* – вверх, в горную, свободную, даже страшную природу

и естественность, в такую, которая играет, *смеет* играть великими задачами... Если говорить *аллегорически*: Наполеон был образцом «возвращения к природе», как я его понимаю (например, *in rebus tacticis*¹, и еще более, как это известно военным, в стратегии). – Но Руссо – *он-то*, собственно говоря, куда хотел вернуться? Руссо, этот первый современный человек, идеалист и *canaille* в одном лице, которому нужно было нравственное «достоинство», чтобы выносить собственный вид; большой необузданным тщеславием и необузданным презрением к себе. Этот выродец, устроившийся у порога нового времени, тоже хотел «возвращения к природе» – куда, спрашиваю я еще раз, хотел вернуться Руссо? Я ненавижу Руссо еще и в революции: она есть всемирно-историческое выражение для этой двойственности идеалиста и *canaille*. Кровавый фарс, в который вылилась эта революция, ее «имморальность», мало трогают меня: что я ненавижу, так это ее руссоистскую *нравственность* – так называемые «истины» революции, которые все еще не утратили влияния и привлекают к ней все плоское и посредственное. Учение о равенстве!.. Но нет более ядовитого яда, ибо *кажется*, что здесь идет проповедь самой справедливости, тогда как на самом деле это – *конец* справедливости... «Равным равное, неравным неравное» – *вот что* было бы истинной речью справедливости – «и, как отсюда следует, никогда нельзя делать равным неравное». – То, что из этого учения о равенстве вылилось столько ужасов и крови, придало названной «современной идее» *rag excellence* нечто вроде огненного блеска и ореола, отчего революция и совратила, как *зрелище*, даже благороднейшие умы. Но это, в конце концов, не основание продолжать чтить ее. – Я вижу лишь одного, кто относился к ней так, как она этого заслуживала, с *отвращением*, – Гёте...

Гёте – явление не немецкое, а европейское: грандиозная попытка победить восемнадцатый век возвращением к при-

¹ в вопросах тактики (*лат.*).

роде, *восхождением* к естественности Ренессанса, нечто вроде самопреодоления этого века. – Он носил в себе его сильнейшие инстинкты: чувствительность, поклонение природе, антиисторический, идеалистический, нереалистический, революционный инстинкты (последний есть лишь некая форма нереального). Он брал себе в помощь историю, естествознание, древность, а равным образом и Спинозу, и прежде всего – практическую деятельность; он обставил себя сплошь замкнутыми горизонтами; он не отстранялся от жизни, а вовлекался в нее; он не был робким и брал, сколько возможно, на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это *цельности*; он боролся с рознью разума, чувственности, чувства, воли (рознью, которую в ужасающей схоластике проповедовал *Кант*, антипод Гёте), он дисциплинировал себя в нечто цельное, он *создал* себя... Среди нереалистично настроенного столетия Гёте был убежденным реалистом: он говорил Да всему, что было ему родственно вокруг, – в его жизни не было более великого события, нежели то *ens realissimum*, которое называлось Наполеоном. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего себя в узде, глубоко уважающего самого себя человека, который может отважиться на всю полноту и богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы; человека, обладающего терпимостью не вследствие слабости, а вследствие силы, потому что он умеет использовать к своей выгоде даже то, от чего погибла бы посредственная натура; человека, для которого больше нет ничего запретного, разве что *слабость*, все равно, называется она пороком или добродетелью... Такой *освободившийся* дух пребывает с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной, *веря*, что негодным может быть лишь единичное, в целом же все искупается и утверждается, – *он больше не отрицает*... Но такая вера – высшая из всех возможных: я окрестил ее именем *Диониса*.

Можно сказать, что в известном смысле девятнадцатое столетие *также* стремилось ко всему тому, к чему стремился

Гёте как личность: к универсальности в понимании, в одобрении, к допусканию-к-себе-чего-угодно, к неустрашимому реализму, к благоговению перед всем фактическим. Отчего же общим результатом этого является не какой-нибудь Гёте, а хаос, нигилистические стенания, неведение-где-вход-где-выход, инстинкт усталости, который *in* *grah*i постоянно побуждает *вернуться к восемнадцатому веку* (например, как романтизму чувств, к альтруизму и гиперсентиментальности, к феминизму во вкусах, к социализму в политике)? Не есть ли девятнадцатое столетие, особенно на своем исходе, лишь усиленный, *загрубевший* восемнадцатый век, т.е. век *décadence*? Так что, Гёте не только для Германии, но и для всей Европы оказывается просто случайностью, прекрасным «напрасно»? – Но это значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой пользы, *возможно, есть даже признак их величия...*

5¹

Гёте – последний немец, к которому я отношусь с почтением: он, по-видимому, чувствовал три вещи, которые чувствую я, – мы сходимся также и насчет «креста»... Меня нередко спрашивают, для чего я, собственно, пишу *по-немецки*: нигде не читают меня хуже, чем в отечестве. Но кто знает в конце концов, да *желаю* ли я вообще, чтобы меня читали в наши дни? – Создавать вещи, на которых время будет напрасну пробовать свои зубы; в форме, *в субстанции* домогаться маленького бессмертия – я никогда не был достаточно скромн, чтобы требовать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы «вечности»; мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в десяти предложениях то, для чего любому другому понадобилась бы целая книга, – и чего он и в целой книге *не* сказал бы...

Я дал человечеству самую глубокую книгу, какую оно обладает, моего *Заратустру*: в скором времени я дам ему самую независимую.

Чем я обязан древним

1

В заключение несколько слов о том мире, подходы к которому я искал и к которому я, быть может, нашел новый подход, – о мире античности. Мой вкус, являющий собой, должно быть, противоположность снисходительного вкуса, и здесь далек от того, чтобы всему без разбора говорить Да: он вообще неохотно говорит Да, охотнее Нет, а больше всего предпочитает ничего не говорить... Это относится к целым культурам, это относится к книгам, – это относится также к местностям и ландшафтам. В сущности, совсем небольшое число античных книг участвовало в моей жизни, причем знаменитейших нет в их числе. Мое чувство стиля, эпиграммы как стиля, пробудилось почти моментально при соприкосновении с Саллюстием. Не могу забыть изумления моего уважаемого учителя Корссена, когда он вынужден был поставить высшую отметку своему худшему латинисту, – я разом разделался с этой задачей. Сжатый, строгий, предельно насыщенный субстанцией, с холодной язвительностью к «красивому слову», а также к «красивому чувству» – в этом я открыл себя. Всюду вплоть до моего Заратустры у меня опознают очень серьезное притязание на *римский* стиль, на «aere perennius» в стиле. – Не иначе было со мною и при первом соприкосновении с Горацием. До сих пор ни один поэт не дарил мне такого артистического восхищения, в какое меня с самого начала приводила ода Горация. В некоторых языках нельзя даже *пожелать* того, что здесь достигнуто. Эта мозаика слов, где каждое слово, как звук, как пятно, как понятие, изливает свою силу направо и налево, а также на все целое, этот *minimum* объема и числа знаков и достигаемый таким путем *maximum* энергии знаков – все это римское и, верьте мне, *аристократично* *par excellence*. Вся остальная поэзия является по сравнению с

этим чем-то слишком популярным, – просто болтливостью чувств...

2

Грекам я вовсе не обязан подобными по силе впечатлениями; и, если уж сказать прямо, они не *могут* быть для нас тем, чем являются римляне. У греков нельзя *научиться* – их своеобразие слишком чуждо нам, оно также слишком текуче, чтобы действовать императивно, «классически». Кто бы мог научиться у грека писать! И кто бы мог научиться этому *без* римлян!.. Не приводите мне в пример Платона. Относительно Платона я радикальный скептик и никогда не был в состоянии присоединиться к принятому среди ученых восхищению *артистом* Платоном. В конце концов тут на моей стороне даже утонченнейшие судьи вкуса среди древних. Платон, как мне кажется, беспорядочно смешивает все формы стиля, в этом он *первый* *décadent* стиля: у него на совести нечто вроде того, что у циников, изобретших *satura Menippea*. Для того, чтобы платоновский диалог, этот ужасающе самодовольный и ребячливый вид диалектики, мог быть притягателен, надо быть совершенно незнакомым с хорошими французскими авторами, – например, с Фонтенелем. Платон скучен. – Наконец, мое недоверие к Платону идет вглубь: я нахожу его настолько отклонившимся от всех основных инстинктов эллинов, настолько пропитанным моралью, настолько воплощенным предхристианином – у него уже понятие «добрый» является высшим понятием, – что я скорее, чем какое-либо иное слово, применил бы ко всему феномену Платона суровое слово «высшее шарлатанство» или, если это приятнее слышать, идеализм. Дорого пришлось заплатить за то, что этот афинянин обучался у египтян (– или у евреев в Египте?..). В великом роковом событии, именуемом христианством, Платон является той названной «идеалом» двусмысленностью и приманкой, послуживший тому, что благороднейшие натуры античности неверно поняли самих себя и вступили на *мост*, который вел к «кресту»... И сколько Платона еще в понятии «церковь», в строе, системе, практике церкви! – Моим от-

дыхом, моим пристрастием, моим *исцелением* от всякого платонизма всегда был Фукидид. Фукидид и, быть может, рин-сире Макиавелли ближе всего родственны мне своей безусловной волей ничем себя не морочить и видеть разум в *реальности* – а не в «разуме» и тем более в «морали»... Ничто не излечивает так радикально, как Фукидид, от жалкого размалевывания греков в идеал, которое «классически образованный» юноша уносит с собою в жизнь, как награду за свою гимназическую дрессуру. Надо строка за строкой выворачивать его, чтобы так же отчетливо, как его слова, читать его задние мысли: мало найдется мыслителей, столь богатых задними мыслями. В нем *культура софистов*, я хотел сказать *культура реалистов* – это неоценимое по своей важности движение среди повсюду прорывающегося нравственно-идеалистического шарлатанства сократических школ, – получает свое законченное выражение. Греческая философия как *décadence* греческого инстинкта; Фукидид как великий итог, последнее откровение той сильной, строгой, суровой фактичности, которая коренилась в инстинкте более древнего элина. Такие натуры, как Фукидид и Платон, различаются в конечном счете своим *мужеством* перед реальностью: Платон – трус перед реальностью, *следовательно*, он ищет убежища в идеале; Фукидид владеет *собой*, следовательно, он сохраняет также и власть над вещами...

3

Выискивать в греках «прекрасные души», «золотые середины» и другие совершенства, удивляться в них, например, спокойному величию, идеальному образу мыслей, высокой простоте – от этой «высокой простоты», этой в конечном счете *niaiserie allemande*¹ меня предостерег психолог, которого я ношу в себе. Я видел их сильнейший инстинкт, волю к власти, я видел их дрожащими перед неукротимой мощью этого инстинкта, – я видел, что все их институты выростали из предохранительных мер, чтобы взаимно обезопасить себя от их внутреннего *взрывчатого вещества*. Чудо-

1 немецкой глупости (*фр.*).

вищенное внутреннее напряжение разрядилось затем в страшной и беспощадной внешней вражде: городские общины растерзывали одна другую, чтобы граждане каждой из них обрели покой от самих себя. Необходимость заставляла быть сильными: опасность была близка, – она подстерегала всюду. Великолепно развитое тело, смелый реализм и имморализм, свойственный эллину, был *нуждой*, а не «природой». Он был лишь следствием, он не существовал с самого сначала. Да и с помощью празднеств и искусств они не хотели достичь ничего иного, как чувствовать себя *на высоте* положения, *демонстрировать* свое превосходство: таково средство прославлять самих себя, а порою и внушать страх к себе... Судить о греках на немецкий манер по их философам, пользоваться простодушием сократических школ для объяснения того, *что* такое в сущности эллинское!.. Ведь философы – *décadents* эллинства, восстание против старого, аристократического вкуса (против агонального инстинкта, против полиса, против ценности расы, против авторитета традиции). Проповедь сократовских добродетелей взялась *оттого*, что они пропали у греков: возбудимые, робкие, непостоянные, комедианты все до одного, они имели немало причин позволить проповедовать себе мораль. Не то, чтобы это чему-нибудь помогло, – но высокие слова и величественные позы так к лицу *décadents*...

4

Я был первым, кто, для уразумения более древнего, еще богатого и даже бьющего через край эллинского инстинкта, отнесся всерьез к тому удивительному феномену, который носит имя Диониса: он объясним единственно *избытком* силы. Кто изучает греков так, как тот глубочайший знаток их культуры из живущих ныне – Якоб Буркхардт в Базеле, – тот тотчас же поймет, что этим кое-что сделано: Буркхардт включил в свою «Культуру греков» специальный фрагмент о названном феномене. Если угодно иметь обратный пример, то взгляните на почти смехотворную бедность инстинкта немецких филологов, когда они приближаются к дионисическому. Особенно это касается знаменитого Лобека,

который с почтенной уверенностью иссохшего среди книг червяка заполз в этот мир таинственных состояний и убедил себя, что он научен в том, в чем на самом деле до отворачивания легкомыслен и ребячлив, – Лобек со всею ученостью дал понять, что в сущности все эти курьезы ровно ничего не значат. Жрецы действительно могли сообщать участникам таких оргий кое-что не лишнее интереса, например, что вино возбуждает веселье, что человек порой живет, питаясь плодами, что растения весной цветут, а осенью увядают. Что касается того удивительного богатства обрядов, символов и мифов оргиастического происхождения, которыми буквально зарос античный мир, то Лобек пользуется им, чтобы еще больше повысить градус своего остроумия... «Греки, – говорит он, *Aglaophamus I 672*, – если им больше нечего было делать, смеялись, прыгали, бесновались, или, так как у человека порой является охота и к этому, садились на землю и плакали и вопили. *Другие* присоединялись к ним позже и искали хоть какой-нибудь причины столь странного явления; так возникли для объяснения этих обычаев бесчисленные мифы и толкования празднеств. С другой стороны думали, что те *забавы*, которые уже имели место в дни празднеств, являются необходимой частью праздничных торжеств, и предавались им как обязательной части богослужения». – Это презренная болтовня, этого Лобека ни на мгновение нельзя принимать всерьез. Совершенно иное впечатление получим мы, если исследуем понятие «греческого», которое составили себе Винкельман и Гёте, и найдем его несовместимым с той стихией, из которой вырастает дионисическое искусство, – с оргиазмом. Я на самом деле не сомневаюсь в том, что Гёте в принципе исключал нечто подобное из возможностей греческой души. *Следовательно, Гёте не понимал греков*. Ибо лишь в дионисических Мистериях, в психологии дионисического состояния выражает себя *основной факт* эллинского инстинкта – его «воля к жизни». *Что* обеспечивал себе эллин этими мистериями? *Вечную* жизнь, вечное возвращение жизни; будущее, обетованное и освященное в прошедшем; торжествующее Да, сказанное жизни наперекор смерти и изменению; *истинную* жизнь как общее продолжение жизни через соитие, через мистерии половой жизни. Поэтому сам символ *половой* жиз-

ни был почитаем греками, был подлинно глубоким смыслом среди всего античного благочестия. Всё, что присутствует в акте соития, беременности, родов, возбуждало высшие и торжественные чувства. В учении Мистерий освящено «страдание»: муки роженицы» освящают страдание вообще, – всякое становление и рост, всё, что служит залогом будущего, *обуславливает* страдание... Чтобы существовала вечная радость созидания, чтобы воля к жизни вечно подтверждала саму себя, для этого *должны* также существовать «муки роженицы»... Все это означает слово «Дионис»: я не знаю высшей символики, чем эта *греческая* символика, символика дионисий. В ней религиозный смысл придается глубочайшему инстинкту жизни, инстинкту будущности жизни, вечности жизни, – самый путь к жизни, соитие, понимается как *священный путь*... Только христианство, с лежащим в его основе ресентиментом *по отношению* к жизни, сделало из половой жизни нечто нечистое: оно забросало *дерьмом* начало, предпосылку нашей жизни...

5

Психология оргиазма, как бьющего через край чувства жизни и силы, внутри которого даже страдание действует как стимул, дала мне ключ к понятию *трагического* чувства, неверно понятого как Аристотелем, так и в особенности нашими пессимистами. Трагедия так далека от того, чтобы доказывать что-либо в пользу пессимизма эллинов в шопенгауэровском смысле, что скорее ее следует считать решительным опровержением этого пессимизма и *противоположной ему инстанцией*. Говорить жизни «да» даже в самых неопостижимых и суровых ее проблемах; воля к жизни, ликующая, когда она приносит в *жертву* собственной неисчерпаемости свои высшие типажи, – *вот* что назвал я дионисическим, вот в чем угадал я мост к психологии *трагического* поэта. Не для того, чтобы освободиться от ужаса и сострадания, не для того, чтобы, очиститься от опасного аффекта бурной его разрядкой – так понимал это Аристотель, – но для того, чтобы, наперекор ужасу и состраданию, *самому быть* вечной радостью становления, – той радостью, которая заключает

в себе также и *радость уничтожения*... И тут я снова соприкасаюсь с тем пунктом, из которого некогда вышел, – «Рождение трагедии» было моей первой переоценкой всех ценностей: тут я снова возвращаюсь на ту почву, из которой растет мое «хочу», мое «могу», – я, последний ученик философа Диониса, – я, учитель вечного возвращения...

Молот говорит

Так говорил Заратустра. 3, 90.

Почему ты так тверд! – сказал однажды древесный уголь алмазу. – Разве мы не близкие родственники?

Почему вы так мягки? О братья мои, так спрашиваю я вас: разве вы – не мои братья?

Почему же вы так мягки, так уступчивы, податливы? Почему так много отрицания, отречения в вашем сердце? Так мало рокового в вашем взоре?

А если вы не хотите быть роковыми и непреклонными, – как можете вы вместе со мною – побеждать?

А если ваша твердость не хочет сверкать, и резать, и рассекать, – как можете вы когда-нибудь вместе со мною – созидать?

Ибо созидающие тверды. И блаженством должно казаться вам запечатлеть вашу руку на тысячелетиях, как на воске, –

– блаженством писать на воле тысячелетий, как на меди, – тверже, чем медь, благороднее, чем медь. Совершенно твердым бывает только самое благородное.

Эту новую скрижаль, о братья мои, ставлю я над вами: станьте тверды! – –

Приложение

Список сокращений

Произведения

- А – «Антихрист».
ВН – «Веселая наука».
ГМ – «К генеалогии морали».
ДД – «Дионисовы дифирамбы».
ДШ – «Давид Штраус как писатель и исповедник».
ЕН – «Ессе homo».
НСВ – «Ницше contra Вагнер».
ПСДЗ – «По ту сторону добра и зла»
РВБ – «Рихард Вагнер в Байройте»
СВ – «Случай “Вагнер”».
СЕТ – приложение к ЧСЧ «Странник и его тень».
СИ – «Сумерки идолов».
СМИ – приложение к ЧСЧ «Смешанные мнения и изречения».
ТГЗ – «Так говорил Заратустра».
УЗ – «Утренняя заря».
ЧСЧ – «Человеческое, слишком человеческое».
ШВ – «Шопенгауэр как воспитатель».

Издания Ницше

- АМ – Ф. Ницше. Антихристианин. Пер А. Михайлова. В: «Сумерки богов». М.: «Политиздат», 1989. Сс. 17–93.
КСВ – Ф. Ницше. Сочинения в 2 т. М.: «Мысль», 1990. Под ред. К. Свасьяна.
НП – Ф. Ницше. Письма. М., «Культурная революция», 2007. Пер. и сост. И. Эбаноидзе.
ПСС – Ф. Ницше. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., «Культурная революция», 2005–. Ссылки на ТГЗ (4-й том ПСС) даются с указанием номеров строк (стр.).
KSA – Friedrich Nietzsche. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bde. Hrsg. v. G. Colli u. M. Montinari. München: Deutscher Taschenbuch Verlag / Berlin: W. De Gruyter, 1999.
NWZ – Erich F. Podach. Friedrich Nietzsches Werke des Zusammenbruchs. Heidelberg: Wolfgang Rothe Verlag, 1961.

Специальные обозначения, используемые в комментарии

Dm (Druckmanuskript) – рукопись для печати, на основе которой делается первое издание.

Rs (Reinschrift) – чистовая рукопись, предшествующая рукописи для печати.

GSA – архив Гёте и Шиллера (Goethe-Schiller-Archiv) в Веймаре.

КиМ – Д. Колли и М. Монтинари.

- – пропущенные слова в рукописи.
- - - незаконченная фраза в рукописи.
- / – конец строки в рукописи.

Сумерки идолов

Первый тираж книги был отпечатан в типографии Науманна в ноябре 1888 г.

Предисловие

increscunt... virtus – изречение Марка Фурия Бибакула, цитируемое Авлом Геллием. – Прим. К. Свасьяна.

Изречения и стрелы

Варианты к данному разделу ср: ПСС 13, 15 [118].

1. Ср.: ПСС 13, 11 [107].
3. Ср.: Аристотель. Политика 1253а 29.
4. Ср.: у Шопенгауэра: «Simplex sigillum veri».
7. Ср.: ПСС 12, с. 342.
11. *Случай философа* – в черновых набросках: *Случай Карлейля*.
13. В черновых набросках афоризм начинался словами: *Женщина, «вечная женственность» – это попросту воображаемые ценности, в которые верит только мужчина*.
14. Ср. в черновиках 1887–1888 гг. выписку из Journal des Goncourts I: «они искали нуля, чтобы удесятить свою ценность» (ПСС 13, с. 110).
15. В одном из черновиков (тетрадь W II 3 в GSA) после слова *авторитет* в скобках на смеси немецкого и французского поясняется: *Denn comprendre c'est egaler* («потому что понимание уравнивает»).
17. *panem et Circen ...* – Н. обыгрывает выражение Ювенала (Sat. 10, 81) «panem et circenses» (хлеба и зрелищ). – Прим. К. Свасьяна.
20. Ср.: ПСС 13, 11 [59].
21. Ср.: ПСС 13, 15 [117].
22. ... *нет песен* ... – Строка из стихотворения «Песни» И.Г. Зойме, ставшая крылатым выражением. В переводе черновиков 1888 года, где Н. также обращается к этой теме (т. 13, 18[9]), В. Бакусев предложил ритмически адекватный перевод этой цитаты: «Злые люди не поют от сердца» (ср.: ПСС 13, с. 484). О русских песнях ср. также с письмом Г. Кезелицу от 27 марта 1886 г. (НП, с. 253).

23. *уже восемнадцать лет ...* – т. е. со времени образования империи.
27. *... до дна. Женщина ...* – в черновых набросках: *до дна. У женщины нет дна, она – бочка данаид*. Ср. с высказыванием Гаварни из «Дневников» Гонкуров (I, 325): «Мы спрашиваем его, случалось ли ему когда-либо понять женщину? – Женщина, но это сама непроницаемость, – не оттого, что она глубока, а оттого, что она пуста». (Пер. К. Свасьяна).
29. Ср.: ПСС 12, с. 482–483.
33. *... для счастья* – ср. в ТГЗ, глава «В полдень» (ПСС 4, с. 279, стр. 26–31).
без музыки ... – ср. в письме Г. Брандесу от 27 марта 1888 г. (НП, с. 307).
... распеваящим песни – аллюзия на строки из патриотического стихотворения «Немецкое отечество», написанное Э.М. Арндтом в 1813 году: «Soweit die deutsche Zunge klingt / Und Gott im Himmel Lieder singt».
34. *On ... assis* – Эти слова Флобера приводит Мопассан в предисловии к изданию писем Флобера к Жорж Санд (книга сохранилась в библиотеке Н.).
36. Ср.: ПСС 12, с. 463 (10[107]).
37. Ср.: ПСС 12, с. 482 (10[145]); ПСС, 13, с. 9 (11[1]).
- 38, 40, 41. Ср.: ПСС 12, с. 482 (10[145]).
44. Ср. концовку первого параграфа А.

Проблема Сократа

1. *... Асклепию петуха* – Ср.: Платон. Федон 118 а.
мудрейшие всех времен – цитата из «Коптской песни» Гёте. Цитируется также в ЧСЧ 110.
3. *... суждение физиономиста ... мой господин* – См. у Цицерона (Tusc. IV 37,80).
4. *перепроизводство ...* – собств. «Superfoetation» – «сверхоплодотворение». См.: ПСС 13, прим. к 11[297].
... «демоний Сократа» ... – См.: Платон. Апология Сократа, 31 d. Также комментарии С.И. Соболевского в: *Ксенофонт. Воспоминания о Сократе*. М., 1993. Сс. 291–292.

«Разум» в философии

2. *длительности...* – в черновике после этих слов зачеркнуто: *Сегодня мы мыслим об этом совершенно как последователи Гераклита.*

Как «истинный мир» наконец стал басней

В одном из планов начала 1888 года эта глава фигурирует как начало «Воли к власти». Ср. абрис первой главы «Воли к власти» в ПСС 13, 14[156].

1. ... *я, Платон* – в предварительном варианте (тетрадь W II 5, 64): *я, Спиноза.*
6. ... *ZARATHUSTRA* – в предварительном варианте (тетрадь W II 5, 64): *PHILOSOPHIA.*

Мораль как противоестественность

Эта глава состоит из двух частей, из которых, в рабочей тетради W II 5, под заголовком «Мораль как тип декаданса», сперва была записана вторая (№№ 4–6). №№ 1–3 появляются только в хронологически более поздней тетради W II 6. В папке с рабочими материалами Mr XVI 4, относящейся к тому же времени, что и W II 6, над №№ 1–2 стоит заголовок «Шопенгауэр и чувственность». Обе части были объединены в одну главу в августе 1888 г.

2. *la Trappe* – Н. имеет в виду орден траппистов. Об этом ордене в том виде, в каком он был реформирован аббатом де Рансе, см. также в 3-й главе ШВ.
4. *Бог знает сердца...* – Лк 16, 15. Ср.: ПСС 13, 18[8].
5. ... *ценности жизни ... определяем ценности* – ср. подготовительные материалы к ЧСЧ, в частности, комментированный конспект книги Е. Дюринга «Ценность жизни»: ПСС 8, 9[1].

Четыре великих заблуждения

Изначально текст был посвящен трем, а не четырем заблуждениям; параграфы 1 и 2 появились только в Rs. Судя по одному из планов «Воли к власти», параграфы 4–6 должны были войти в первый раздел («Психология заблуждения») этой ненаписанной книги (см. ПСС 13, 16[86] и 16[85]). Материал, переработанный здесь в параграфы 7–8, содержится еще в записях весны 1888 г. (ср.: ПСС 13, 15[30], в особенности сс. 386–387).

1. *Корнаро* – книга венецианца Лодовико Корнаро (1475–1566) «Discorsi della vita sobria» в немецком переводе сохранилась в библиотеке Н.
Crede experto – ср. в письме Овербеку: *За Ниццу я держусь крепко, в климатическом отношении это моя «земля обетованная». Только вот здесь надо основательно питаться и жить не а ля Корнаро* (30 марта 1884).
3. ... что вложил в них – ср. у Канта: «Мы а priori познаем о вещах лишь то, что вложено в них нами самими» (*Кант. И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. Т 3. С. 88*). – Прим. К. Свасьяна.
... *мерилом реальности* – в предварительных набросках (папка Mr XVI 4): *судьей мира*.
4. ... *со свидения ... ложно поняты как его причина* – ср.: ЧСЧ 13.
6. ... *и представление 2, 666* – Н. цитирует по лейпцигскому изданию 1873–1874 годов, экземпляр которого сохранился в его библиотеке.

«Исправители» человечества

Эта глава, по мнению КиМ, также родилась из подготовительных материалов к «Воле к власти» – в особенности к третьей главе («Добрые люди и улучшители») Второй книги («Происхождение ценностей»), согласно плану, датированному 26 августа 1888 г. (см. ПСС 13, 18[17]).

2. ... «*белокурой бестий*» – ср. 11-й параграф Первого рассмотрения ГМ.

3. «Закона Ману» – Н. ознакомился с ним по книге Louis Jacal-
liot. Les législateurs religieux. Manou-Mo se-Mahomet. Paris,
1876. Об этом см. также в письме Кезелицу от 31 мая 1888
г. (НП, с. 319).
Третье предписание ... друг другу – ср. в вышеупомянутой кни-
ге Жаколио с. 105 сл.
(– это ... расы – там же, с. 102 сл.
4. книга Еноха – апокрифический древнееврейский текст, от-
носящийся ко II в. до н. э. Ср. выписки Н. из Ренана в ПСС
13, 11 [405].
5. Ни Ману ... безнравственны – ср. конец 55 параграфа А.

Чем обделены немцы

1. ... быть умным – в черновых вариантах (тетради W II 3 и W
II 7) после этих слов следовало: *Среди французов требуется
мужество быть немцем.*
... народом мыслителей – первым, кто назвал немцев «наро-
дом мыслителей и поэтов», был, по всей видимости, Карл
Музеус (в предисловии к «Народным сказкам» в 1782 г.).
Deutschland ... Alles – первая строка «Песни немцев», сочи-
ненной в 1841 г. Х. Хоффманом фон Фаллерслебенем.
2. Недаром ... до гроба – см. D.F. Strauss. Gesammelte Schriften.
Hrsg. v. E. Zeller. Bd. 12.
4. Культура и государство ... антиполитичным – один из черно-
вых вариантов: *Сегодня государство претендует на то, чтобы
высказываться в вопросах культуры и даже выступать в них
судьей, – как если бы государство не было лишь средством, и весь-
ма подчиненным средством культуры! Сколько «немецких рей-
хов» можно было бы отдать за одного Гёте!*
больше нет ... удивление – черновой вариант: *То, что нет ни-
каких немецких философов, это бесспорный финал ... Словом
«философ» злоупотребляют такие болтливые нули, как господин
Бессознательный – Эдуард фон Гартман – или ядовито-желчные
типы, вроде берлинского антисемита господина Е. Дюринга –
среди приверженцев последнего совершенно нет пристойных лю-
дей, а среди приверженцев первого – пристойных «умов».*
5. Нужны воспитатели ... воспитаны – ср.: ПСС 8, 5 [25].
«высших няnek» – ср.: ПСС 12, 10 [12].
7. нет пальцев – ср. ЕН, Казус Вагнер, 4.

Набег Несовременного

Заголовок раздела не означает, что на Н. «набежало» нечто «несовременное». Под «несовременным» Ницше подразумевает самого себя. Одна из его фотографий даже подписана им: «Фридрих Несовременный». Поэтому слово *Несовременного* мы даем здесь с прописной буквы.

Этот раздел также сложился из фрагментов, которые Н. создавал с осени 1887 по лето 1888 гг., первоначально предполагая включить их в «Волю к власти». КиМ видят в этом факте еще одно доказательство того, что СИ есть «продукт разложения» (*Produkt der Auflösung*) замысла «Воли к власти». В первой Rs, подготовленной летом 1888 г., то есть в рукописи, состоявшей еще из фрагментов будущих СИ и А, нынешние параграфы с 1 по 18 были собраны под заголовком «Среди художников и писателей», а параграфы с 19 по 31 и с 45 по 51 – под заголовком «Из моей эстетики». Параграфы с 32 по 44 были добавлены Н. между 4 и 13 октября, когда он занимался корректурой рукописи – они тоже взяты из материалов, предназначавшихся исходно для «Воли к власти».

1. *трубач ... из Экингена* – подразумевается популярное стихотворение И. фон Шеффеля. Ср. ЕН, Случай «Вагнер», 1. *lactea ubertas* – т. е. молочное изобилие (*лат.*). Ср.: в «Дневниках» Гонкуров: «В ее позе есть тяжесть, невозмутимость, нечто от полуспячки жвачного ... Г-жа Санд – жвачный сфинкс, корова Апис». – Пер. К. Свасьяна.
2. *Ренан. – Теология ... характера* – черновой вариант: *Как же выходит, что столь рафинированный и гибкий ум, как Ренан, промахивается всякий раз, как отдается своим инстинктам? Абсурдным образом становится теологом и феминистом? соединить ... la noblesse* – Ср.: ПСС 12, 9[20].
духовный аристократизм – черновой вариант: *святого Франциска духовного аристократизма*. Имеются в виду прежде всего «Философские диалоги» Ренана, которые Н. читал в немецком переводе.
3. Ср.: ПСС 13, 11 [9], из которого становится еще очевиднее, что в этой характеристике Сент-Бева Н. использовал «Дневники» Гонкуров. Ср.: «Легкое касание – в этом шарм и убожество болтовни Сент-Бева. Никаких высоких идей, никаких

значительных выражений, ничего от тех образов, которые штрихом слагают фигуру. Все отточено, мелочно, колко, настоящий дождь мелких фраз ... Искусный, остроумный, но скудный разговор, где скопились грация, эпиграмма, благовоспитанное мурлыканье, когти и *бархатные лапки*. В сущности разговор, в котором нет ничего от разговора настоящего самца» (Journal des Goncourts II, 66). «... Он почти с ног до головы кажется нам неким нивелировщиком на манер Конвента, человеком, не упускающим случая проколоть XIX век выпадами ненависти а ля Руссо, того Жан-Жака, с которым он немного схож физически». (Там же, 90. Пер. с фр. К. Свасьяна). Курсивом выделены места, которые подчеркнуты рукой Н. в сохранившемся в его библиотеке экземпляре «Дневников».

... *предтеча Бодлера* – Ср.: ПСС 13, 11[231].

6. Ср.: ПСС 13, 11[24].

lettres d'un voyageur – книга Жорж Санд («Записки путешественника»), вышедшая в 1837 г.

Она заводила ... писала – ср. свидетельство Теофиля Гютье: «Однажды она дописала роман в час ночи... и той же ночью взялась за другой ... Писание у г-жи Санд – это естественное отправление» (Journal des Goncourts II, 146. Пер. с фр. К. Свасьяна).

Ренан читит ее – ср.: «Г-жу Санд я нахожу гораздо более правдивой, чем Бальзака... У нее страсти обобщены ... через триста лет читать будут г-жу Санд» (Journal des Goncourts II, 112. Пер. с фр. К. Свасьяна).

7. Ср.: ПСС 12, 9[64]. (*Colportage* переведено там как «бульварные»).

... «с *натуры*» – в ориг.: *nach der Natur*, что, по мнению КиМ, является переводом французской формулы «d'arg s nature», содержащейся, в частности, в предисловии к «Дневникам» Гонкуров.

8–11. Эти параграфы на определенном этапе предыстории книги составляли начало главы «К физиологии искусства», которую Н. упоминает в 7-м параграфе СВ: *в одной из глав моего основного произведения, носящей заголовок «К физиологии искусства»*. Глава под таким названием значится еще в майском плане «Воли к власти». См. также ПСС 13, 17[9].

10. *Что означает ... дионисического* – Ср.: ПСС 13, 14 [14–26].

- 12–13. Ср.: ПСС 13, 11 [45].
13. *Ut desint ... voluptas* – шутливая парафраза стиха Овидия (Epist. ex Ponto III 4, 79). Н. заменил овидиевское «voluntas» на «voluptas».
14. «пускай ... останется» – парафраза концовки лютеровского хора «Твердыня – наш Господь». У Лютера – также *Reich*, но в значении «Царствие небесное».
15. Ср.: ПСС 12, 9 [99] и 9 [101].
16. *Гартман* – Ср.: ПСС 13, 11 [101].
19. «О, Дионис ... длиннее» – ср.: ПСДЗ 295.
20. в этой ненависти ... глубоко – черновой вариант (в тетради W II 7): *В этой ненависти заключена целая философия искусства.*
22. *Платон ... к зачатию* – См.: Платон. Пир 206 b–d.
23. *Платон ... почве* – См.: Платон. Федр 249d–256e.
24. Ср.: ПСС 12, 9 [119].
... червь – в Dm: змея.
25. Ср.: ПСС 13, 11 [2].
27. Ср.: ПСС 13, 11 [59].
«Какой чарующий портрет!» – начало арии Тамино из первого действия «Волшебной флейты» Моцарта.
je ... d'esprit – из письма аббата Галиани к мадам д'Эпине от 18 сент. 1769 г.
28. Ср.: ПСС 12, 10 [143].
31. Ср.: ПСС 13, 11 [79]; *Плутарх*. Цезарь 17.
- 32–36. Эти параграфы Н. взял из обширной Rs, которую он начал в апреле 1888 г. в тетради W II 6. Она состояла из шести параграфов, причем первые два стали затем 2-м и 3-м параграфами А, а остальные четыре вошли в СИ. В той же тетради чуть позднее был записан афоризм под заголовком «Реабилитация самоубийства, «добровольной смерти», включенный затем в СИ в качестве 36-го параграфа «Набегов Несвоевременного».
40. Ср.: ПСС 13, 11 [60].
41. «Свобода ... разумею» – пародия на начальную строку стихотворения Макса фон Шенкендорфа «Свобода» (1813): «Freiheit, die ich meine».
44. их предусловием ... сохранялось – Ср.: ЕН, Почему я так мудр, 3.
45. Ср.: ПСС 12, 10 [50].

46. *Здесь вид свободный вдаль* – строка из второй части «Фауста» Гёте.
48. Ср.: ПСС 12, 9 [116].
«равным ... неравное» – Ср.: ТГЗ, О тарантулах.
- 49–50. Ср.: ПСС 12, 9 [179].
49. *Он носил ... инстинкты* – черновой вариант: *Он высвободил его сильнейшие инстинкты.*

Чем я обязан древним

4. «Греки ... богослужения» – хотя в качестве источника цитаты Н. ссылается на Aglaorhamus Лобека, скорее всего цитата приведена по комментарию Ф. А. фон Беснарда к книге: *Арнобиус. Семь книг против язычников* (Arnobius, der Afrikaner: Sieben Bücher wider die Heiden. Landshut, 1842. В библиотеке Н. сохранился экземпляр с большим количеством сделанных им пометок, касающихся как дионисических мистерий, так и критики христианства со стороны античных авторов. Подробнее см: *I. Ebanoidze. Beitrag zur Quellenforschung in: Nietzsche-Studien, Bd. 27. Berlin-NY, 1998. S. 552–556.*

Молот говорит

См.: ПСС 4, с. 218, стр. 2–21.